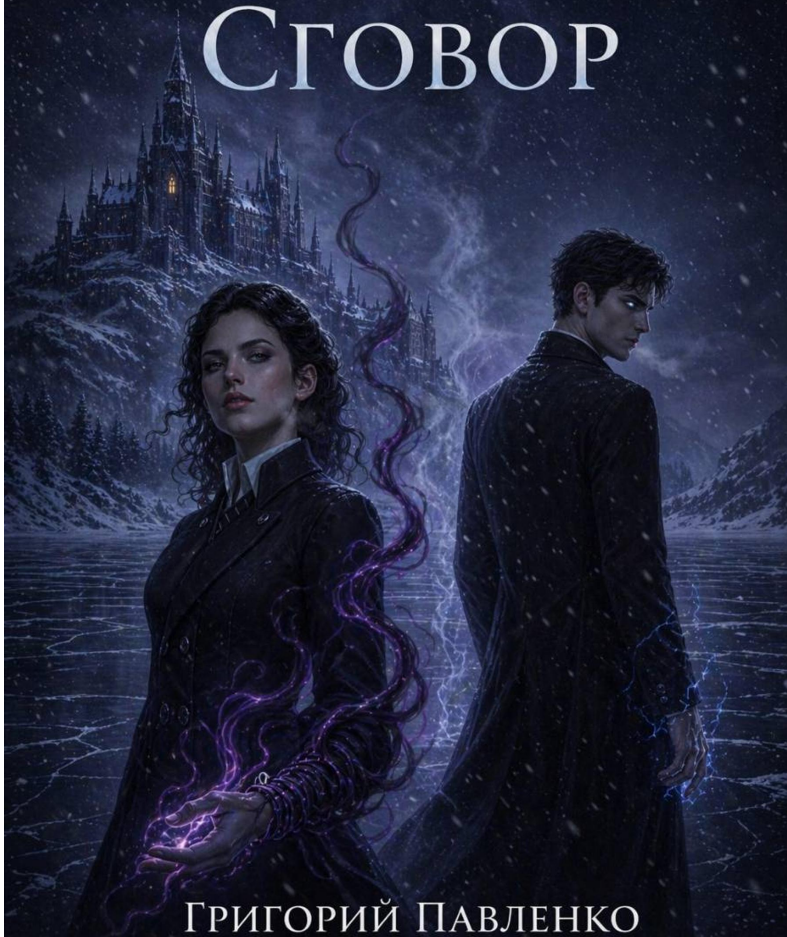


АКАДЕМИЯ АРХОНТИЯ

МОЛЧАЛИВЫЙ СГОВОР



ГРИГОРИЙ ПАВЛЕНКО

Григорий Павленко

Молчаливый сговор

<https://litres.ru/74266959>

SelfPub; 2026

Аннотация

Медяков теперь шесть. Заработанных: каникулы, честный разнос подносов в трактире с жизнерадостным названием «Здесь умерло двенадцать человек».

Жизнь налаживалась — пока двое во дворе не принялись деловито обсуждать, брат Ренна Сола живьём или можно попроще.

Ренн Сол — это она.

В академии — второй семестр и адепт у западной стены. На снегу одна цепочка следов, его собственная. Крови ни капли: не пролили — вытянули. Такое оставляет артефакт из тех, что Совет «изъял из оборота». Изъял — значит, был. Был — значит, есть.

У ректора решение готово: перевод подальше — тихо, заботливо и с подписью. Спасает так, что от ссылки не отличишь. Придётся раскрыть дело быстрее, чем её сошлют, — благо воровка с факультета шпионов видит чужие чары насквозь.

А ещё в академию едет знатный дом — смотреть жениха. Жених — ректор. Тай уже смешно. Айре почему-то не очень.

Он молчит о том, кто она. Она — о том, что узнала о нём. Молчаливый сговор — договор без подписей. Этой зимой выяснится, чего он стоит.

Содержание

Глава 1. Шесть медяков	5
Глава 2. По ведомству	23
Глава 3. Полозья	40
Глава 4. Явка засчитана	53
Глава 5. Расписание	72
Глава 6. Одна цепочка следов	90
Глава 7. Харентол	106
Глава 8. Прибытия	121
Глава 9. Приемлемо	143
Глава 10. Приём	162
Конец ознакомительного фрагмента.	164

Григорий Павленко

Молчаливый сговор

Глава 1. Шесть медяков

Шесть медяков.

Айра пересчитала их большим пальцем, не вынимая руки из кармана фартука, — на ощупь, по рёбрышкам. Все шесть были на месте — всё, что праздничный зал накидал ей за вечерние разносы: за скорость, за небитую посуду и за то, что не жаловалась на песни. Целое состояние, если считать по меркам её прошлой зимы. По меркам позапрошлой — вообще богатство.

Неплохо дела идут, неплохо. Ещё лет сорок такого же упорного, честного и ответственного труда, и она сможет себе позволить купить сапоги, в которых, возможно, не ночевали крысы. Перспектива, конечно, интересная, но не самая радужная. А вот убить несколько недель, которые ученикам благословенной академии Архонтия отведены на отдых между семестрами, — для этого честный труд вполне себе годился.

На самом деле она могла и в академии остаться на каникулы, нигде это не запрещалось. Но девице из среднего дома Сол полагалось уехать к семье — а семья, столица и празд-

ничный стол существовали у Айры в единственном виде: на бумаге. Так что был выбор: либо найти семью Сол, вломиться к ним в дом и честно признаться, что она их потерянная дочь, — либо найти местечко, где можно было бы пересидеть это время. В этот раз Айра ограничилась вторым вариантом. Первый решила приберечь до следующих каникул.

Она вытащила из мойки последний котёл — чёрный, ведёрный, с нагаром, настолько мощным, что, кажется, из него и состоял сам котёл, — и взялась за него песком и злостью. За стеной, в общем зале трактира «Здесь умерло двенадцать человек», гудели утренние возчики. Пахло жиром, мокрой золой и подгоревшим вчерашним варевом, отскрести которое и была её задача.

Вывеска ей нравилась — прямая, без вранья, правда довольно длинная. Да и, вопреки названию, никто тут вроде не умер за то время, что она здесь работала. Ну, или ей просто не сказали.

С котлом у Айры сложились отношения. Он был здесь самый старый, самый тяжёлый и единственный, кто не задавал вопросов. Чем-то даже напоминал Кота.

— Ну что, приятель, — сказала она ему вполголоса, — недолго нам осталось. Семестр на носу. Будешь тут без меня скучать, грустить и плакать.

Котёл молча подставлял бока под щётку, делая вид, что и совсем он не расстроится.

Через неделю — обратно: устав, резерв-час (кстати, сколь-

ко ей на него ещё ходить?), ректор со своими заготовленными паузами. Выходило подозрительно нестрашно. Разбиться, отчего так, она не стала.

А за стеной, в общем зале, тем временем возчики спорили про академию — она уже выучила, что зимой в «Здесь умерло двенадцать человек» спорят либо про овёс, либо про академию, третьего не берут.

— ...кормят, говорю, три раза в день. И мясо. За что им, спрашивается?

— За страх, — веско отвечал второй голос. — Ты бы там за мясо жил? Там же эти. Ну, эти. Вот и я говорю.

— А к горе, слышь, крытые сани заказаны, — влез третий голос, помоложе. — Из самой столицы. Среди зимы-то.

— Кому туда кто сдался среди зимы?

— А вот кому-то, выходит, сдался.

Против таких доводов в зале возражений не нашлось — ни по первому вопросу, ни по второму.

Руки саднило. Три года улицы она эти руки берегла: вскрывать замки да обчищать чужие карманы — работа мало того что крайне благородная, так ещё и требующая чуткости и тонкости. А две недели у котлов сделали из них наждак — цыпки, трещины, ноготь на большом сломан о котельную дужку. Что от порядочной жизни первыми страдают руки, её никто не предупреждал. И как ей теперь людей обворовывать? Стыд какой, а не руки.

— Постоялица! — В кухню сунулась тётка Пава: широкая,

громкая, с половником, который служил ей и инструментом, и жезлом власти. — Бросай своего чугунного жениха. На рынок сходишь: лук, сало, и у Гарды спроси кислой капусты, только не той, что сверху, — она сверху кладёт прошлогоднюю, знаю я её. И торгуйся! У тебя лицо честное, тебе уступают.

Лицо честное. Ха.

— Схожу. — Айра вытерла руки.

— Со дна! Со дна капусту! — Пава сунула ей корзину и две монеты, завязанные в тряпицу. — И горло замотай. Ишь, моду взяла — нараспашку по морозу. Кто за тобой ухаживать будет, если сляжешь? У меня тут не лечебница, нахлебников не держу!

С хозяйкой она сторговалась в первый же вечер, по-городскому: Айра будет ей помогать по хозяйству, а взамен — угол за печью и две миски в день, желательно не пустые. Ну и, разумеется, никаких вопросов о том, кто такая, откуда, зачем и почему. Пава сделку приняла, да и не лезла к Айре лишний раз. Видимо, решила, что девица-беглянка из какого-то знатного дома и просто ищет, где зиму пережить, прежде чем двигать дальше по большой дороге. Айра, если уж на то пошло, разубеждать бы её точно не стала.

Ну а сейчас большое дело: поход на рынок. Но сначала она забежала в свою комнатуху, за плащом и шарфом, чтобы замотать горло.

В мешочке над её тюфяком доживала своё травяная смесь

— та самая, «от горла», всученная перед разъездом с приказом заваривать через день. Айра заваривала. Не потому, что верила в травы. Потому что представляла жёлтые глаза, которые сощурятся, если она посмеет слечь.

* * *

Мороз на улице стоял деловитый, рабочий — не лютый, а такой, который просто напоминает, кто здесь главный. Нижний рынок дымил жаровнями. Зимой он был вдвое меньше летнего и втрое злее: торговки мёрзли, покупатели мёрзли, и торговались обе стороны коротко, по-зимнему: две фразы и по рукам.

Айра шла через ряды с корзиной, и город читался сам, без её желания, — по старой выучке. Вон торговка отсчитывает сдачу из рукава, а в рукаве у неё поверх медяков серебро — дура или приманка стражи. Вон мальчишка пасёт зазевавшихся у пряничного лотка, и пасёт грубо, засветится к полудню.

У лотка с рыбой дар шевельнулся — лениво, спросонья: под наведённым гляncем «утренний улов» оказался позавчерашним. Плетеньице грошовое, на чью-то каплю, таких на этом рынке торговали через лоток. Не её война. Ей за капустой.

У хлебной лавки выстроилась очередь — и стояла грамотно: держались через одного, переклички не теряли, задних

пересчитывали. Как раз при ней и пересчитали.

— Одиннадцать! — объявил мужик в заячем треухе, дойдя до хвоста. — А по перекличке десять. Кто одиннадцатый?

Очередь помолчала, шевеля губами. Одиннадцатым не признался никто.

— Со мной десять... — усомнился последний, с бидоном.

— С тобой одиннадцать! Ты за кем стоишь?

— За тётенькой.

Тётеньки перед парнишкой не было — было пустое место, аккуратное, на одного. Очередь качнулась, уплотнилась и осталась стоять из принципа: мест не сдают.

Рука не тянулась. Даже к тому, в бобровой шапке, — а у того кошель слева, оглядывался же он направо: бери голыми руками. Айра проверила себя с подозрением, как проверяют языком затихший зуб: точно не тянет? Совсем?

Нет, я, конечно, могла бы его срезать вот прямо сейчас. Просто не хочу. Но могу.

Мальчишка у пряничного лотка тем временем выбрал цель — тётку с гусем под мышкой, у которой кошель болтался на поясе, снаружи, нахально, как приглашение. Мальчишка этого приглашения ждал третий круг и уже пристроился в шаг.

Вообще-то ей было не всё равно. Возьмут дурака — стража до вечера будет трясти ряд и заглядывать в лица в поисках подельников. Этого ей тут точно не надо было.

— Глаза разуй. — Айра поравнялась, не поворачивая головы. — Она же на тебя гуся натравит.

Он вздрогнул и уставился на неё — лет десять, уши торчком, пальцы красные, голые, всё как положено.

— Я стою! — соврал он с достоинством человека, который врал уже просто из принципа.

— Вот и стой. А к ней не лезь. Во-первых — гусь. А гусь — это оружие страшное. Во-вторых, ты даже пискнуть не успеешь, как она тебя зашибёт. Ты руки её не видишь, что ли? Это же повариха. Она крыс кулаком бьёт. А крысы быстрее и ловчее тебя.

— Чего?

— Того. Иди отсюда.

Мальчишка попятился и растворился между лотками — быстро, надо отдать должное. Уходить он умел лучше, чем работать.

Айра пошла дальше и через десяток шагов поняла, чьим голосом это было сказано. Интонация, разбор, самый порядок доводов — слово в слово, только голос другой.

Поздравляю, Айра, становишься Бывалой. Морен помер, а советы его ходят по рынку в твоей обуви.

Морен подобрал её на этом самом рынке — тощую, злую и свято уверенную, что уже умеет воровать. Первым делом он эту уверенность из неё вытряс. Потом два года учил заново, и не столько брать, сколько не попадаться: где встать, куда смотреть, когда уходить, почему в толпе безопаснее всего

идти медленно. «Взять может любой дурак, — говорил он. — Ты научись после этого дожить до ужина».

Она дожила. Морен — нет. Кончил он плохо, как все, кто слишком долго делает всё правильно и один раз ошибается.

За вторым рядом, между рыбным и скобяным, открывался проулок к красильне. Трубы над ней не дымили: красильщики глушат чаны с первых морозов — это она знала лучше многих, на том и держалась когда-то вся её зима. Щёлок в чанах стоял коркой, тёплая жёсть давно стала просто жёстью, и крышу — её бывшую спальню и крепость последнего года — уже заняли под чужое хозяйство: натянули верёвку, развесили стирное. Серые рубахи застыли на морозе колом и покачивались все вместе, как маленький строй.

В сам проулок она за эти недели сворачивала трижды. Не за памятью — по делу.

У дальней стены, где потише, зимовал старик с костерком из щепы. В последний заход Айра присела рядом на корточ-ки и положила у огня ломоть — плату за разговор, тут это понимают.

— В конце лета тут человек умер. У кладки. Не здешний. Старик долго жевал губами, глядя в огонь.

— Мало ли их помирает.

— Про этого полрынка судачило: сидел, говорят, как живой. Кто он был, не знаешь?

— Может, и знал бы. — Он подвинул ломоть к себе. — А только куда они все деваются? Туда и делись. Подобрали,

свезли, зарыли, где безымянных зарывают. Кто ж их считает.

Он был прав. Концы уходили в снег.

«Ищите живого», — посоветовал ей на прощание человек, от которого пахло ладаном. Живого искать не требовалось: живой отлично умел находить её сам. А вот мёртвый — чужой, тихий, так никем и не названный — не находился никак.

У капустных бочек сидела Гарда — старая, вечная: она торговала тут дольше, чем стоял сам рынок, и помнила всех в лицо, потому что хорошая торговка всегда помнит, кого и как обманывала. На передней бочке висел оберег: жестяной, наговорённый, судя по зелени на краях — от сглаза, судя по всему остальному — ни от чего.

— Кислой. Со дна, пожалуйста. Мне сказали, сверху у вас прошлогодняя.

— Кто это тебе сказал?! — Гарда взвилась так, что с соседней бочки съехала крышка.

— Люди, — скромно ответила Айра. — Врут, наверное.

— Врут! — отрезала Гарда и, оскорблённая в лучшем, полезла на самое дно, выкладывая верхние пласты на снег. — На, смотри! Янтарь, не капуста! Такую в столице на стол подают!

— В столице подают по медяку за кочан.

— По медяку?! Да за такую... Восемь! — Прозвучало это голосом, которым уже уступают.

— За янтарь — восемь, спору нет. — Айра кивнула на

пласты. — А за тот край, где бочка подтекала, — шесть. Я же вперемешку возьму.

— Где это она у меня подтекала?!

— Вон, по клёпке дорожка. Я бы такую по весне перетянула, пока обруч не съехал.

— Без тебя знаю! — Гарда грозно посмотрела на дорожку, на Айру, снова на дорожку. — Семь. Вперемешку.

Торговались дальше недолго и с удовольствием, по-стариковски: больше для разминки, чем для победы. Два медяка Гарда уступила, сама не заметив, в какой момент, и посмотрела на Айру с уважением:

— И чего я тебе уступаю? Лицо у тебя, что ли...

— Честное, — согласилась Айра. — Мне говорили.

И вот тут, на хвосте победы, Гарда сощурилась — по-другому, цепко:

— Постой-ка. А ты не та, что у красильни жила? Худая такая, шустрая. Осенью ещё пропала — мы уж решили, в реку угодила или подобрал кто.

— Обозналась, тётушка. Я с Литейной.

— С Литейной... — Гарда щурилась дотошно. — А похожа-то как. Прямо одно лицо.

— Все худые зимой на одно лицо.

Гарда хмыкнула, взвесила капусту и на прощание положила сверху солёный огурец — то ли за торг, то ли за худобу. Айра расплатилась, забрала корзину и ушла с правильной скоростью — той, на которой людей не запоминают.

Холодок между лопаток шёл с ней до конца ряда: город помнит лица.

* * *

Сычуга она срисовала ещё у скобяного — он шёл параллельно, не глядя в её сторону, что при его глазах означало: смотрит только на неё. Можно было уйти — проходных дворов вокруг рынка она знала больше, чем он. Айра взяла у жаровни кружку сбитня — на медяк из выторгованных: Пава велела торговаться, а премию торговец назначает себе сам. Сбитенщик как раз плескал на угли ложку сусла, духу огня за прилежание. Она села греть руки.

Пусть подойдёт. Интересно же, почём нынче слухи.

Он подсел, как умел только он: секунду назад его не было — и вот сидит рядом на ящике, мелкий, опрятный до неприличия, в перчатках с отрезанными пальцами, и греет над углями свои счётные ладошки.

— А говорили — тебя ещё по осени в реке нашли, — сказал он вместо приветствия.

— Здравствуй, Сычуг.

— Здравствуй, рука. — Он покосился на её корзину, на фартук под тулупчиком, на замотанное горло. Взгляд у него был как безмен: всё, на что он смотрел, немедленно что-то весило. — Слух прошёл ещё на той неделе. Я слухам не верю, я их проверяю. Дай, думаю, гляну, кого это Пава у котлов

держит.

— Поглядел?

— Поглядел. Гляжу и плачу. — Он отхлебнул из собственной кружки. — Лучшая рука на этом берегу трёт чугуны за харчи. Морена на тебя нет — он бы от такого второй раз помер.

Про Морена он ввернул со значением. Айра промолчала. Морена она помнила без его помощи, а как тот кончил — тем более.

Угли в жаровне шевелились и потрескивали. Сбитень грел ладони сквозь кружку — почти как речной голыш, только глупее.

— Дело есть, — Сычуг понизил голос до делового. — На вечер. Дом за мостом, хозяева до конца праздников на богомолье, прислуга распущена. Двое уже в деле, нужна третья рука — тонкая, по окнам и по шкатулкам. Твоя доля серебром. — Он показал на пальцах сколько, и пальцы у него не соврали: сумма была честная, из уважения. — За вечер — как тут за год у котлов. Даже Пава столько на своей капусте не выварит.

Айра ждала, что внутри потянет. Приготовилась всерьёз: сумма была такая, что прошлой зимой у неё свело бы скулы. Дом пустой, прислуги нет, окна на третьем — она уже видела эти окна, ещё не увидев дома: старая голова начертила всё сама, без спросу, до чёрного хода включительно.

Голова начертила. А внутри было тихо.

— Нет, — сказала она. — Я отошла.

— От чего отошла? — Сычуг даже не удивился, только безмен во взгляде качнулся. — От денег? От таких не отходят, девочка. Такими не бросаются.

— От дел отошла.

— Полторы доли. — Сычуг помолчал, и лицо его не скрывало, во что ему обходится эта щедрость. — Из уважения к выучке. Морен бы одобрил.

— Морен бы спросил, почему двое в деле, а окна на третьем. И кто из этих двоих сдаст остальных, когда его возьмут за шиворот. Нет, Сычуг. Спасибо за уважение.

— Осенью ты бы взяла.

— Осенью меня в реке нашли, помнишь?

Сычуг смотрел на неё долго — переводил, видно, на свой счётный язык: в бегах девка, под кем-то ходит или просто перегрелась у котлов. Не перевёл. Допил, поставил кружку, поднялся.

— Ну, гляди. — Он отряхнул полы. — Такое не разучивают. Само не отсохнет — так и будет чесаться. А зачесется — Сычуга на рынке всякий знает.

Он ушёл между рядами — мелкий, аккуратный, незапоминающийся, лучшее качество в его деле. Айра допила сбитень.

Вот и сходила за капустой.

Чесалось, если честно. Но нет. Нельзя.

Вечером трактир гудел на полный ход: праздники кончались, народ догуливал остатки. Пава припахала её разносить миски — «у меня две руки, а ртов сорок», — и Айра носила, считая попутно, у кого сколько выпито и кто полезет обниматься первым.

Зал доедал вечер со вкусом. У печи резались в кости на щелбаны — по лбу проигравшего было видно, что вечер удался. За длинным столом возчики допели песню, у которой к концу оставалось всё меньше слов и всё больше чувства, и, едва допев, вернулись к главному:

— А я говорю — золочёные! Брат кума под столицей такие видал: сани как храм, только на полозьях!

— И едет, стало быть, ревизор.

— Покойник в них едет! Кто ж ревизора среди зимы возит? Ревизоры до тепла спят!

— А может, оно вместе, — примирительно сказал самый пьяный. — Покойный ревизор. Потому и тайком везут — чтоб живые не радовались.

Зал обдумал версию и нашёл её убедительной. Пава правила всем этим от стойки, как правят паромом: без суеты, но с полным пониманием течения.

На одном из разносов у стойки кто-то о чём-то спрашивал Паву — негромко, не по-зальному.

— Отродясь не живало, — отрезала Пава. — Ходят тут, вынюхивают.

Айра прошла мимо, не повернув головы: пять мисок на руках, сорок ртов в зале — до чужих расспросов ей дела не было.

Между двумя ходками, пока Пава цедила очередной кувшин, Айра прикрыла глаза — на два вдоха, не дольше — и позвала. Тьму, стекло — как её ни назови. В академии та хоть огрызалась: приходила не всякий раз и не по первому зову, но приходила. Здесь — ничего. Пусто. Ни тьмы, ни стекла, ни знакомого звона по краю. Тоже, что ли, в реку сиганула?

Ну и молчи. Без тебя, как видишь, прекрасно живу.

Темнота даже не съязвила в ответ. За две недели — ни разу: звать она умела, приходиться оно не умело. Или не хотело — разбери их. Как к этому относиться, Айра тоже пока не решила. С одной стороны, взять с неё в городе теперь нечего — удобно. С другой — выходило, что отошла не она: это от неё отошли. Обе мысли были свежие, и обе ей не нравились.

Знак тоже молчал — с самого спуска в город. А ведь в конце лета он на этих же улицах кусался: жёг, дёргал холодом, напоминал о себе, когда не просили. Теперь висел тихо, как задремавшая птица за пазухой, и отзывался, только если тронуть, — нехотя, вполсилы, будто из другой комнаты. Она отложила это в счёт — туда, где копились у неё все вопросы к этому железу.

Человека в углу она заметила на втором заходе.

Он сидел у дальней стены — спиной к кладке, лицом к двери, и Айра машинально отметила: грамотно сидит. Плащ на нём был дорожный, тёмный, а капюшон натянут так глубоко, что мог бы служить мешком. В зубах у него торчала трубка. Трубка не дымила. Для солидности, видимо, хватало и самой трубки.

— Тётушка Пава. — Айра приняла на кухне новые миски. — А что за гость у вас в углу? Который в капюшоне.

— А, этот. — Пава глянула через окошко раздачи без всякого интереса. — Ловчий, по всему. Их по зиме набегает — к праздникам самый лов: кто за долгами бегают, кто за беглыми. Ищут, говорят, воров, убийц, беглых магов... а ещё, слышала, лжецов, которые пролезают в академии и живут там под чужим именем, будто так и надо. Отребья, одним словом, развелось — на всех ловчих хватит. — Она сунула Айре поднос. — Ты работай, девка, работай, не пялься. Их дело ловчее, наше — суповое.

Айра похмыкала и понесла миски дальше. В зале стояла духота, возчики давно сидели красные, распояской, — а тому, в углу, в его глухом капюшоне, было хоть бы что. Спина чесалась точно посередине, там, куда смотрят.

За дровами она вышла уже в темноте. Во дворе спина чесаться перестала: отсюда на неё смотрели одни звёзды, а звёзды смотрят на всех разом — это она умела не принимать на свой счёт. Мороз к ночи набрал злости, снег под подошвами не скрипел, а вскрикивал, и после зальной духоты воз-

дух шёл в грудь колкий, чистый, колодезный. Айра любила этот час. Город стихал, рынок спал под ставнями, и слышно делалось далеко — на три двора в любую сторону.

Двор при трактире был мал, поленница жалась к забору, а за забором лежал проулок, из которого несло чужим табаком и разговором. Разговор шёл вполголоса, и одну его половину съедал ветер.

— ...Сол? Ренн Сол? — Голос был сиплый, деловой, из тех, что не торгуются, а назначают. — Не, не слышал. А вам его как — живьём брать или можно попроще?

Вторая половина разговора пробубнила что-то короткое и невнятное.

— Ну, как знаете. А то я бы и сам прирезал кого надо. Недорого.

Бубнёж — теперь подлиннее, с нотой, похожей на ужас.

— Да не гляди ты на меня так, я человек простой, никаких проблем мне не надо. Тогда так: спроси в «Здесь умерло двенадцать человек» — трактир у рыночной площади, с вывеской, мимо не пройдёшь. Чужие завсегда там оседают. Там и твой Сол осел, поди.

Полено легло в руки и не почувствовалось. Айра стояла у поленницы, в темноте, которая была недостаточно её, и слушала, как за забором прощаются двое: один — скрипом снега, второй — тем же придушенным бубнежом.

Её имя. Её казённое, чужое, дважды мёртвое имя — вслух, посреди её квартала, из уст человека, который пред-

лагает прирезать недорого.

Глава 2. По ведомству

В зал Айра вернулась с дровами и с лицом приличной девицы. Лицо держалось. Руки — хуже: на полпути между печью и стойкой поднос повело, она поймала, шагнула, зацепилась за чью-то лавку...

...и мир выключили.

Без её разрешения, на один вдох: зал ушёл за стекло, гул умер, сорок ртов стали сорока тёмными очертаниями с ниточками тепла. Тишина здесь была сухая, выстуженная, и стучала в ней толчками только её собственная кровь. Та самая тьма, которую она две недели звала за печью и не дозволялась.

И только в дальнем углу, там, где полагалось сидеть тёмному очертанию в капюшоне, никакого очертания не было. Там горел очаг — тихий, домашний, жарко-золотой, единственное тёплое пятно на весь стеклянный зал.

Додумать это она не успела.

Звала — не шла. Не звала — пришла.

Мир вернулся разом, с грохотом: черепки под ладонями, лужа похлёбки, свет — резкий, как по свежим глазам, и тонкая стеклянная нота в ушах, знакомая по худшим дням.

— Руки! — гремело от стойки. — Руки у девки из плеч или из другого места?! За посуду вычту! Из жалованья!

Сосед за ближним столом смотрел на неё дольше всех —

как смотрят на место, где только что что-то стояло. Потом сплюнул через плечо, пробормотал «померещится же с кислого» и отодвинул своё пиво подальше.

Айра стояла на коленях среди черепков и считала вдохи. Один. Два. Больше никто не смотрел дольше, чем смотрят на разбитую посуду.

А потом из тёмного угла её взяли за локоть.

— Для того, кто хочет потеряться, — сказал капюшон низким, сирым и очень старательным голосом, — вы привлекаете к себе слишком много внимания... господин Сол.

— Во-первых, я тебе не господин. — Айра развернулась с черепком в руке, острым краем вперёд. — Во-вторых, я не живу, я работаю. А в-третьих...

Капюшон качнулся. Из-под него, снизу вверх, плеснуло жёлтым — двумя счастливыми щёлками.

— ...Ру?!

— Тихо! — Щёлки сощурились до ниток. — При чужих — Тай, гроза плаца. Забыла? И вообще. — Она выпрямилась во весь рост, отчего капюшон свалился сам, и объявила на пол-зала, казённо и радостно, как объявляют прибытие обоза: — Привет, Ренн! Сто лет не виделись! Идём в угол, я там стену подкоптила, чтобы потемнее. Есть разговор.

— Глаза-то, глаза! — восхитились у печи. — Жёлтые!

— К оттепели, — авторитетно отозвались от длинного стола.

Зал, весь вечер честно ждавший злодейства, проводил их

разочарованным гулом и вернулся к песне.

* * *

Угол и вправду был подкопчён — свежо, старательно, аккуратным полукругом за спинкой лавки.

— Ты жгла стену Павы. — Айра села.

— Я улучшала укрытие. — Тай стянула плащ, и в углу сразу потеплело, как от открытой печной дверцы. Полтрактира немедленно захотело пересесть поближе, само не понимая почему.

Черепок Айра, оказывается, так и держала в руке — остриём к лучшей подруге. Заметила только сейчас. Пальцы разжимались неохотно, по одному. Тай посмотрела на черепок, на неё — и ничего не сказала, только подвинулась вплотную.

А в том, выключенном зале, на этом самом месте горел очаг — единственное тёплое пятно на сорок ртов. Могла бы, в общем, и догадаться.

— Привет, говоришь, Ренн, — сказала Айра, пристраивая черепок на стол. — Громко у тебя вышло.

— На то и расчёт: громкое имя слышат все и не запоминает никто. — Тай пожала плечами и не посмотрела на неё, что при её прямоте означало деликатность. — А другого ты мне пока не оставила. — Она почесала нос. — Зато «Ренн» короткое. Экономия. Мать бы оценила.

Крыть было нечем — ни первое, ни второе.

— Между прочим, могла бы меня и найти, — сменила тему Тай. — Город один. Недели — две. Я считать умею.

— Тай...

— Да-да, знаю, ты права. — Тай подняла ладонь. — Людям надо отдыхать друг от друга. Ты не обижайся, но иногда ты бываешь такой навязчивой.

— Я?!

— Вот. Уже навязываешься. — Она подвинула к себе кружку Айры, понюхала, скривилась и вернула. — Ладно. К делу. Я вообще-то к тебе по делу, а не сидеть тут в чужом капюшоне.

— А капюшон чей?

— Брата двоюродного. И трубка его. — Тай вынула трубку изо рта и посмотрела на неё с уважением. — Для солидности. Ловчие всегда с трубками, я узнавала.

— Она же не горит.

— Я побоялась раскуривать. — Тай понизила голос до трагического. — Я ж не умею. Вдруг трактир бы спалила весь?

Двухнедельный запас колкостей, копившийся без дела, тратился сам собой, без её участия, — и ни одной ей не было жалко.

— Кстати. Как ты меня вообще нашла?

— Я спрашивала. — Тай пожала плечами. — Меня боят-ся. Мне отвечают быстро.

— Дело, — напомнила она.

— Дело. — Тай подобралась, и весёлое из её глаз ушло. —

По городу третий день ходит чёрный всадник и спрашивает Ренна Сола. Где живёт, где столуется, когда съезжает. Дошло до скотного рынка — а до скотного доходит только то, что уже прошло весь город. Мне его описали трижды — и всякий раз по-разному, но все сходятся: чёрный, тощий, глаза горят, сумка через плечо. В сумке, говорят, верёвка. Головорез как есть. — Она постучала костяшками по столу. — Я пришла вчера и сегодня. Сидела, смотрела. Сегодня, между прочим, ты уронила поднос.

— Я знаю, что я уронила поднос. Это минуту назад было.

— Я к тому, что раньше ты не роняла даже слов. — Жёлтые глаза глянули коротко и очень внимательно — и тут же ушли в сторону, к делу, не задержавшись. — В общем, так. Ночую у тебя. Это не просьба, это расстановка сил.

— И какой план?

— Простой. Он приходит — я его глушу. Утром разбираемся, кого приглушили.

— А если он не один?

— Значит, разбираемся дольше.

— У меня каморка шириной в тюфяк.

— Я компактная.

— Ты горячая.

— Я термически одарённая, — с достоинством ответила Тай. — Скажи спасибо: у тебя за печью зима, а будет лето.

Лето наступило к полуночи.

Каморку под крышей Пава звала «углом за печью»: печная труба шла сквозь стену и звание отработывала честно. Демонидка добавила от себя, и к полуночи под крышей стояла июльская баня. Айра лежала между стеной и Тай, которая всё никак не могла улечься, и пересчитывала своё имущество — на слух, по памяти, как считают те, кому не спится. Сумка, смена белья, лезвие в манжете, мешочек с травой, шесть медяков.

И — отдельно, не в счёт, потому что в опись такое не пишут, — во втором гнезде манжеты, там, где всю осень жила жестянка, лежал ключ: маленький, тяжелее своего вида, с гранёной головкой, которую палец находил в темноте безошибочно. Чужой ключ от чужого шкафа. Отпирать ему в этом городе было нечего — а весил он больше всей сумки.

Тебя не считаем, — сказала ему Айра. — Ты не имущество, ты обязательство.

Ещё ей были должны. Копии одного дела, на тонкой бумаге, обещанные «до конца недели», — неделя с тех пор кончилась дважды. Айра аккуратно вела этот счёт и сама не знала, чего в нём больше: бумаги или должника.

К вечеру от такого дня положено было гудеть эху в затылке — оно поселилось там с самого экзамена и съезжать, судя

по всему, не собиралось. Две недели назад ей на полминуты показали, как бывает, когда не гудит.

Лучше бы не показывали.

И была ещё тьма — та, что пришла в зале без зова. Две недели звала — не шла. Сегодня не звали — пришла, включила ей мир посреди смены и ушла, не прощаясь, как и явилась. А сосед потом глядел туда, где она стояла, как на дырку от человека, — и больше она пока ничего про это не понимала.

Не поймёшь, у кого из нас двоих норов хуже.

— Караул делим так, — сказала Тай в темноте, устраиваясь. — Первая смена моя. Вторая тоже моя: у тебя удар слабый.

— У меня удар точный.

— Точный и слабый. Спи, приманка.

Спать не хотелось обоим. В густой, натопленной темноте молчалось легко — но молчать после двух недель врозь было жалко.

— У матери тётка гостила, — сообщила Тай потолку. — Сказала, что я исхудала и что мне пора замуж. Я расплавила ей ложку. Случайно. Ложка семейная, ей сто лет.

— А тётка?

— А тётке двести. Ей полезно. — Тай повернулась, и в темноте блеснуло жёлтым. — Твоя очередь. Расскажи что-нибудь семейное.

— У меня семья на гербовой бумаге.

— Ну и что. У всех свои недостатки. Рассказывай про бумагу.

И Айра, сама себе удивляясь, рассказала.

Дом Сол — средний, столичный, из тех, о которых не говорят и не спрашивают. Отец по торговой части: сукно, подряды, поставки в казну — скука такая, что расспрашивать дальше никто не станет. Мать из провинции, оттого в столице её не принимают, в гости не зовут и знакомых у неё там нет. Дочь одна, поздняя, держали строго. Отправили учиться, потому что прорезался дар: одарённая девица в доме — расход и позор, а в академии — вроде как честь.

— Погоди. — Тай приподнялась на локте. — Это ты всё сама придумала?

— За две недели. Времени было навалом.

— А зачем?

— Затем, что вернусь — спросят. Как каникулы, как матушка, что подавали к столу. — Айра пожала плечами в темноте. — И отвечать надо не думая. Кто думает — тот врёт. Врут медленно, правду говорят сразу.

Тай задумалась. Судя по тому, как надолго, — к делу она отнеслась серьёзно.

— Брата заведи.

— Зачем мне брат?

— Затем, что про брата всегда есть что сказать. Не знаешь, что отвечать, — вздохни и скажи: «А брат опять чудит». И все кивают, и никто дальше не лезет, потому что у всех

есть такой брат. — Пауза. — У меня вот двоюродный. Он и правда чудит. Но принцип рабочий.

— Учту.

— Заведи, заведи. Он тебе ничего не будет стоить. А стол-то хоть богатый был? — деловито уточнила Тай. — На бумаге.

— На бумаге — да. Гусь, пироги, студень.

— Студень — это правильно. Студень в приличную бумагу так и просится. — Тай повозилась, устраиваясь. — А за столом кто сидел?

— Я. Две недели. Одна за всех: за папеньку, за маменьку и за себя, любимую.

— И как папенька?

— Строг, но справедлив. Маменька мягче.

— Хорошая семья, — заключила Тай, дослушав. — Компактная. Замуж тебя с такой, правда, не выдать. Ну так и не надо.

И ведь где-то они есть. Настоящие. Сидят себе в столице, едят своего гуся и знать не знают, что у них завелась дочь — на казённой бумаге, при даре и с долгами по дисциплине.

Внизу ещё ворочался трактир: скрипнула лавка, звякнула посуда, Пава кому-то выговорила — сонно, без злости. Хорошие звуки. Под такие и засыпают.

Тай заснула первой — на полуслове, где-то между братом и студнем. Дыхание выровнялось, и печка в ней притихла до

утра. Караул из демонишки вышел парадный.

Шаги Айра слышала на втором часу.

Кто-то поднимался по лестнице и шёл по коридору — крался, старательно переноса вес с пятки на носок, а старательно красться умеют только те, кто красться не умеет: каждая половица докладывала о госте отдельно. Айра села. Тай уже сидела — бесшумно, одним движением, и жёлтые глаза горели в темноте двумя углями.

Шаги дошли до их двери. И остановились.

Тай подняла три пальца: на счёт три. Лезвие легло Айре в ладонь. Дверная ручка повернулась.

Дверь пошла внутрь — медленно, без скрипа, как открывают, когда очень не хотят никого разбудить.

В проёме стояла темнота, и темнота была ростом до прилоки. Ни лица, ни рук: чёрное, узкое, длинное, с горбом на плече — а от него тянулось в комнату что-то тонкое, шарящее по воздуху.

Спросонья, без свечи, глазами, которые ещё не привыкли к темноте, это и была смерть — та, что приходит по делу: не спеша, без стука и точно зная, за кем.

Ну вот и всё.

— Раз-два-три! — протараторила Тай и загнула все три пальца разом.

Дальше всё было темно, густо и коротко. Тай взяла длинное из темноты в захват, Айра добавила сверху, существо сложилось, пискнуло, и все трое покатались в коридор, где

было чуть светлее и значительно твёрже.

— По ведо-о-омству! — придушенно взвыло снизу. — Я по ведомству-у!

Наверху лестницы вспыхнула свеча. Пава — в ночной рубахе, с половником, страшная, как гнев божий, — обозрела картину: её постоялица с лезвием в руке, незнакомая девица с жёлтыми глазами, сидящая верхом на тощем человеке, и сам тощий человек, прижатый к полу лицом.

— В моём заведении, — сказала Пава голосом, от которого прогибались половицы, — никого. Не. Убивают.

— А двенадцать человек? — с искренним интересом спросила Тай, не слезая.

— ГРИБЫ! — рявкнула Пава. — Они просто потравились рраговыми грибами! И это было сорок лет назад! Слезь с него, окаянная, это ж почтовый!

— Почтовые стучат, — возразила Тай сверху. — А не крадутся.

— Я стучал! — В голосе из-под Тай прибыло обиды. — Мне открыл господин, который допивал у окна. И велел идти тише — хозяйку не будить: она, сказал, с половником спит!

При свече грозная тьма до притолоки разобралась на части, и части вышли жалкие. Тощий немолодой дядька. Форменная шапка с высокой тульей — она-то и добирала недостающий рост, — теперь откатившаяся к лестнице. Казённая сумка через грудь, перекутившаяся в борьбе на спину, — тот самый горб на плече. И красный с мороза нос.

Длинное и шарящее оказалось его рукой: он тянулся в темноту, чтобы нащупать край кровати и не грохнуться о неё в чужой каморке.

На полу, под Тай, действительно обнаружился казённый почтарь. Из сумки высыпался разбойничий арсенал: палочки сургуча, печатка на шнурке, роспись-книжка и огрызок хлеба. Достоинство укатилось дальше шапки.

— А верёвка где? — Тай кивнула на россыпь. — Люди говорили — с верёвкой ходит.

— Это шнурок! — оскорбился почтарь, не отрываясь от пола. — Печатный!

— Я, между прочим, при исполнении, — сообщил он туда же, потому что подняться ему пока не давали. — Предписано: лично, под роспись, до исхода недели. А неделя вышла нынче в полночь! Я второй час как нарушитель предписания!

Тай слезла. Пава подняла почтаря за шиворот — одной рукой, как поднимают нашкодивших котят, — отряхнула и усадила на ступеньку. Вблизи головорез с верёвкой оказался человеком, которому давно и глубоко надоело всё: квартал, зима, сумка и в особенности собственное начальство.

— Два дня, — сказал он с чувством, оглядывая собравшихся по очереди, с расстановкой, как пересчитывают убытки. — Два дня я по вашему кварталу имя спрашивал. «Сол Ренн». Никто не знает никакого Сола! А нынче вечером один добрый человек сперва предложил его прирезать, за недоро-

го, — я чуть сумку не бросил, — а после послал меня сюда: спроси, мол, в «Здесь умерло двенадцать человек», чужие там оседают. — Он посмотрел на Айру с укоризной, как на соучастницу. — Я в заведение с таким названием ночью и шёл-то через не могу. Думал, заманивают. Посылают же в такие места, чтоб потом в них и найти.

— Кому вручить-то? — спросила Пава, у которой любопытство боролось с половником и побеждало.

Почтарь порылся в сумке и извлёк конверт — плотный, казённый, с печатью на синеватом воске. Поднёс к свече и прочёл, по обязанности, вслух:

— «Сол Ренн, адептке факультета Тени». — Ниже стояло мельче, писарским почерком, и ему пришлось сощуриться: — «Место вручения: трактир „Здесь умерло двенадцать человек“... у котлов».

Стало тихо. Он перечёл про себя, шевеля губами. Потом поглядел на конверт так, будто тот два дня молчал нарочно.

— Нам грузы читать не велено, — сказал он наконец в пространство. — Только сопроводительную. Порядок. — Он собрался и кашлянул: — Лично и под роспись. Кто из вас Сол Ренн?

— Смотря кто спрашивает, — сказала Айра.

— Ведомство спрашивает, — устало ответил он. — Мне велено: спросят откуда — отвечать «по ведомству». Я и отвечаю. Второй день. Всем.

Айра расписалась в его книжке закорючкой, не значившей

ничего, и взяла конверт. Синь печати она узнала раньше, чем прочла хоть слово, — и Знак под рубашкой отозвался теплом ей навстречу, впервые с отъезда. Вокруг были сплошь чужие — по всем его правилам ему полагалось молчать.

А, ну теперь ты решил себя показать, да?

Адреса она не оставляла никому — она и сама его не знала, пока не постучалась в эту дверь. А где-то в академии, в комнате без окон, сидел, надо думать, писарь, который вывел «у котлов» обычным своим почерком — и не удивился.

Почтаря увели вниз — Пава, сменившая гнев на хозяйственность, налила ему настойки «от несправедливости» и усадила к печи оттаивать. Снизу ещё долго доносилось, как он жалуется на ведомство, а Пава — на грибы, и оба друг другу не верили.

— Письмо, оно само не ходит! — пробилось сквозь пол на третьей рюмке. — А ноги у меня одни! И обе казённые!

Рюмкой позже дошло до главного.

— А ведь в прошлом году орлы носили! Казённые! Хоть на гору, хоть за море — и всё в срок! Но не-е-ет: адепты жаловаться удумали. Глаза им, вишь, выцарапывает. А как орёл тебе вручит «лично и под роспись», если ты от него под лавку?! — Стук, звяк, скорбная пауза. — Списали орлов. Теперь я. Ногами. По кварталам. Ищу их. Адептов.

Пава сочувственно подливала. На том они и сошлись, что во всём виновато ведомство.

— К утру, — Тай зевнула, — будут рассказывать, что на

тебя напали трое с ножами, а мы их уложили голыми руками.
— К обеду нападавших станет пятеро.
— Я и говорю: жизнь налаживается.

* * *

Наверху, при свече, Айра осмотрела печать — простая, глухая, не живая: архивных, седеющих от чужого пальца, на вызовы не тратят. Проверила, прежде чем ломать. Привычка.

Внутри был один лист, и лист не тратил слов:

«Сол Ренн, адептке первого курса факультета Тени. Предписывается явиться к началу зимнего семестра, к третьему дню, для продолжения обучения. Явка отмечается в канцелярии. При себе иметь Знак».

И печать — арка ворот и три башни, оттиснутые в синем воске.

Явка — к третьему дню семестра. Она будет там к первому.

Айра сидела на тюфяке, держала лист двумя руками, за самые края, и слушала себя. Внутри поднималось тепло — как тесто у хорошей хозяйки. Она улыбалась казённой бумаге.

Дожили, адептка Сол. Радуетесь повестке. В следующий раз, может, и налоговой ведомости обрадуемся.

— Чему улыбишься? — сонно спросила Тай из-под одеяла,

которое ей было не нужно и которое она затребовала «для уюта».

— Учиться зовут.

— А. — Тай повернулась на другой бок. — Передай им, что я приеду позже. Мать без прощального обеда не выпустит. Это святое.

Помолчала и прибавила:

— У меня такой же был. Вызов. Я его сожгла. Случайно.

— И как?

— Сходила в канцелярию, заучила с их листа наизусть. И расписалась, что ознакомлена. Пепел предъявляла. — Она зевнула. — Не жги своё. Канцелярия злопамятная.

Своё Айра убрала за пазуху — к Знаку. Пусть знакомятся: бумага и железо, оба казённые, оба на чужое имя.

Первые такие бумаги Айра видела в конце лета — сложенные, перевязанные бечёвкой, с водяным разводом на просвет. Они лежали за пазухой человека, сидевшего у стены за красильней, и человеку этому уже никуда не требовалось являться.

Она разгладила лист на колене, посидела с ним ещё немного и задула свечу.

Темнота встала обычная, честная, чужая — та, что не отзывается. Рядом сопел самый тёплый караул в её жизни.

И, уже засыпая, она подумала о том, о чём весь вечер думать себе не разрешала.

Вызов на это имя приходил уже дважды. Первый нашёл

в переулке чужое тело — а настоящий хозяин имени жив и велел его не искать. Второй нашёл её. У котлов, на другом краю города, — куда дороги не знал даже тот, кто его нёс.

Очередь двигалась.

Глава 3. Полозья

Утром «Здесь умерло двенадцать человек» провожало её как родное — то есть с погрёками.

Тай ушла затемно, к матери, на прощальный обед («это святое, и не спорь»), взяв с Айры слово ни во что не влезать до её приезда. Слово Айра дала честное — по здешним меркам. Сумка собралась одним движением — жизнь давно научила её держать вещи в состоянии побега. Мешочек с травой, почти пустой, лёг сверху: вернуть с докладом. Заварила. Выжила. Кланяюсь.

Внизу Пава уже держала наготове узел с пирожками и половник — на этот раз чисто церемониально.

— Явилась, — начала Пава без предисловий. — Ну, пусть теперь на горе с тобой радуются. Две недели пожила — шуму на год вперёд. Посуду мне перебила...

— Один поднос.

— Поднос — тоже посуда. Почтарей середь ночи вязала. У приличных постояльцев, чтоб ты знала, письма днём приходят.

— Я им передам.

— Передай. — Пава смирила её взглядом, каким проверяют кружку: не треснула ли. — Ишь. Худющая. Так и не откормила.

На это ответа у Айры не нашлось. Она вскинула сумку на

плечо и занялась лямкой.

— К семье-то заедешь перед горой? — Пава перевязала узел заново, третий раз за утро.

— На учёбу. Сразу.

Слово легло на язык легко, без единой заусеницы — не то что «семья», не то что «столица», не то что всё остальное из её бумаг. Хотя бы это в её бумагах было правдой.

— Ну и правильно, — одобрила Пава и сунула ей узел. — Кормить кормят, а пирожков там небось не дают. И это. — Половник неопределённо качнулся. — Понадобится угол — за печью не заржавеет. Посуды, опять же, у меня много.

По дороге к дверям Айра завернула на кухню. Котёл стоял на своём месте, чёрный и несогласный со всем миром.

— Прощай, приятель. — Она щёлкнула ногтем по чугунному боку. — Держись тут. Никому не позволяй скрести себя кое-как.

Котёл промолчал — с достоинством, как и всё, что он делал.

На крыльце её догнала Пава — не для слов: сунула второй узел («это не тебе, это Тай, отдашь»), оглядела улицу, будто проверяя, всё ли готово к отъезду её беды, и ушла внутрь, не прощаясь. Прощаться Пава не умела. Умела снаряжать.

Сани ждали у рыночного угла, а рынок в этот час только продирал глаза: скрипели первые ставни, кто-то мёл снег перед рядами, тянуло первым дымом. Гарда уже воевала с примерзшей бочкой — по утрам они с бочкой были на равных.

Жаровня у скобяного дышала давно: сбитенщик вставал раньше собственного товара. Сычуг сидел рядом на своём ящике — будто с позавчерашнего так и не уходил.

— На гору? — Он мотнул головой сбитенщику, и Айре сунули кружку. — На дорожку. Не спорь: духу огня уже уплачено, а с ним не шутят даже такие, как ты.

Сбитень был злой, с перцем — в самый раз для того, у кого впереди гора и сто шагов пешком. Ложку сусла сбитенщик стряхнул на угли, не глядя. Угли согласились.

— Довезёт, — сказал Сычуг углям, не ей. — Присмотрит. Гарда оторвалась от бочки:

— На гору? Передай там... — Она подумала и махнула рукавицей. — Нет. Ничего не передавай. У нас с горой уговор: я про неё не вспоминаю, она про меня. — И бочке: — А ты чего расселась?

Присматривали за Айрой этим утром, выходило, уже двое — считая котёл. С такой охраной до горы могла доехать даже её репутация.

У заставы сани придержали. Городской страж, замотанный по самые глаза, обошёл воз кругом и для порядка потыкал древком в мешки. В том числе — в те два, которые погрузили по дороге и о которых Айра старалась не думать. Мешки промолчали: сработано было чисто. Возчик тем временем смотрел вперёд с лицом до того честным, что Айра на его месте себя бы обыскала.

— Куда? — спросил страж без любопытства: ответ он знал

и так, других дорог тут не водилось.

— На гору.

Страж посмотрел на гору. Потом на сани. Потом на Айру. Сочувствие в нём боролось со службой, и служба победила:

— Проезжайте.

Возчик тронул. Мешки за спиной ехали молча, как личные.

* * *

Знаковая дорога не признавала снега.

От рыночного угла сани шли по накатанному, мягко и вкрадчиво, а за последним постоянным двором тракт кончился — начался чёрный камень, голый и сухой, будто снегу здесь было не велено, — и полозья заскребли по нему со звуком, с каким точат очень длинный нож. Возчик скривился, как от зубной боли, но не удивился.

— Колёса надо ставить, — сказал он в пространство. — Каждую зиму говорю.

— Кому?

— Себе. Не был бы таким дураком — может, и послушал бы.

Лошадь прядала ушами и сама собой забрала к середине дороги — к обочинам её не тянуло. Айра лошадиную науку одобрила: она и сама помнила, чем этот туман пахнет летом и как умеет глядеть.

Город остался внизу, в серой дымке печных труб. Расстались они, как и жили эти две недели, — вежливо и без обещаний писать.

Когда полозья в первый раз скребнули по камню, Знак под рубашкой потеплел — будто и он почувствовал, что вернулся на положенный путь.

Вернулись, значит, — согласилась Айра. — Только не думай, что я забыла, как ты умеешь молчать.

Дорога лежала пустая в обе стороны. В день заезда здесь ползла вереница длиной в пол-столицы, с рожками, гербами и руганью, — зимой, выходило, Знаковая дорога жила одна. Полозья скребли, и звук уходил в обочины без остатка: эх тут не водилось. Или водилось, но работало куда-то вглубь.

Не останавливались тут, похоже, даже поесть. В какой-то момент возчик вытащил из-под сиденья ломоть с салом и съел его на ходу, не придерживая лошади.

— Стоять тут не стоят, — коротко ответил он на её взгляд.

Лошадь шла сама, дорогу знала — и по тому, как старательно она шла, не оглядываясь и не сбавляя, было ясно: правило она тоже знает.

Туман, кстати, никуда не делся — туман замёрз. Он держался вдоль дороги слоями, как и летом, только теперь слои были прошиты инеем, и их можно было разглядывать: первый, второй, третий. Айра разглядывала недолго. Из-за третьего слоя на неё поглядели в ответ — неторопливо, по-зимнему: я тут, никуда не делся, можешь свернуть с дороги, я

против не буду. Она отвернулась первой и решила считать это вежливостью.

Потом справа расступился иней, и открылось Зеркало Мертвецов. Берега завалило белым по самую кромку, лес на дальней стороне тоже был белый, — а озеро лежало чёрное. Не замёрзло. Мороз, которому подчинялась вся округа, эту воду обходил стороной — надо думать, не по забывчивости. В воде отражалось небо, высокое и ясное. Айра не сразу поняла, что с этим небом не так. Поняла. Перепроверять не стала: небо в воде было летнее.

Возчик туда не смотрел вовсе. Возчик смотрел лошади в спину — там было надёжнее.

Со временем дорога тоже обходилась по-своему. До чёрной воды ехали, по ощущению, час. От воды до леса — три вдоха. Лес тянулся так долго, что Айра успела заподозрить его в сговоре с туманом. Спрашивать возчика она не стала: у него на всё был один ответ — «дорога сама решает», и, что обидно, этот ответ пока ни разу не соврал.

Где-то посреди леса возчик заговорил сам — надо думать, чтобы не слушать тишину:

— Я на гору всякое возил. Раз — зеркало. В рост. Всю дорогу со мной разговаривало.

— О чём?

— Вежливое было, — сказал возчик, помолчав. — Не «о чём», а вежливое. Больше зеркал не беру.

Потом из-за леса поднялись башни — серая, красная и

третья, чёрная, тонкая, на белом небе особенно бессовестная. В прошлый раз Айра добрый час выглядывала, когда они начнут приближаться, и с тех пор считала себя в этом вопросе человеком учёным. В этом году она на башни не глядела принципиально. Продержалась полторы минуты.

— Гляди, гляди, — разрешил возчик, не оборачиваясь. — За погляд не беру. Это они летом чудят, а зимой уж сами решают, как появиться, как исчезнуть.

И то правда. Сначала они были далеко, едва ли не за самым горизонтом, а потом, стоило Айре неосторожно моргнуть, оказались тут, почти рядышком.

Интересно, а если моргнуть ещё раз — опять убегут?

Она проверила: моргнула ещё раз, нарочно, с расстановкой. Башни остались на месте — только чёрная, показалось, сделалась на волос выше. Будто расправила плечи под взглядом.

Ладно. Договорились.

— Дальше не поеду. — Возчик остановил лошадь шагов за сто до ворот. — Уговор был — до горы.

— Уговор был — до ворот.

— А это и есть ворота. Вон они. — Он ткнул кнутовищем вперёд, не глядя. — Лошадь у меня учёная, ближе не пойдёт. Она в том году слыхала, как тамошний камень стихами разговаривает. Меня не слушает, а его наизусть запомнила. Животная впечатлительная, при ней такого нельзя.

Впечатлительная животная тем временем стояла смирно,

опустив голову, и подрёмывала: ворота её не касались никак. А вот вожжи возчик держал крепко. Крепче, чем нужно держать дремлющую лошадь.

Айра поглядела на его кулак. Возчик поглядел, куда глядит Айра, и понял, что торговаться поздно.

— Ну и у меня оно, — признал он и зачем-то приосанился. — По-учёному даже называется. — И выговорил бережно, по складам, как несут полную до краёв кружку: — Метро-фо-би-я.

— Это что?

— Стихобоязнь. Вёз я осенью одного, из серой башни. Он всю дорогу читал вслух. Свои же бумаги — а с выражением. К заставе я готов был идти пешком. Он и определил. Он же и слово это дал, денег не взял: случай, говорит, редкий, для науки полезный.

— Лечится?

— Не лечится. — Возчик заметно повеселел. — Зато можно не слушать.

Он подобрал вожжи и добавил уже деловито:

— Ты вот что, девонька. Ежели он там про меня чего сложит — мне не пересказывай.

Айра слезла и стянула с передка сумку. Сто шагов так сто шагов. За провоз сговаривалась Пава — за спасибо. Спасибо Айра отработала ещё до выезда, полчаса покараулив воз у заведения, из которого возчик вышел заметно добрее, чем зашёл. Да и по пути ещё вроде загрузили пару мешков кра-

денного. В общем, никто никому не остался должен. Лучший вид расчёта.

А у ворот уже стояла очередь. Небольшая — трое саней, гружёных по-хозяйски: бочки, мешки, чей-то сундук с медными углами, — и все три стояли, а не ехали, потому что впереди, в нише над аркой, работал страж.

Очередь Айра по привычке оценила — не корысти ради, гимнастика. У переднего возчика кошель ехал в наружном кармане тулупа, наивный, как заячий след. Сундук с медными углами просился в руки весь целиком, и замок на нём стоял дороже замка на воротах. Летом от такого расклада у неё зачесались бы ладони. Теперь — отметила и забыла: сытая жизнь портит хватку. Или воспитывает. Она пока не решила.

Из ниши гремело голосом, каким жернова говорили бы, умеи они говорить:

— ...И прибыл к нам гружёный снедью воз,
а в нём капуста, репа и мороз,
и робкая надежда, что вопрос
о недовесе нынче не возрос...

Каменная голова в нише двигалась медленно, со скрипом, обводя очередь белыми, без зрачков, глазами. Возчики слушали стоя, сняв шапки. Не из почтения — по опыту: в прошлом сезоне один торопливый попробовал проехать под приветствие и простоял потом у ворот до темноты, слушая поэму о торопливости в трёх частях.

Тот самый торопливый, кстати, обнаружился тут же —

третьим в очереди. Айра опознала его без подсказок: он один держал шапку обеими руками, как держат прошение, и на нишу смотрел с личным, выстраданным уважением.

— Главное — не торопиться, — сказал он сам себе. Голос у него был выздоравливающий.

На третьей строфе страж запнулся — подбирал рифму к «недовесу». Очередь перестала дышать. Правило знали все: одно неловкое слово со стороны — и будет «начнём сначала». Рифма нашлась. Очередь выдохнула — осторожно, вполгруды.

Следом за снedyю стоял воз с бочками, и возчик его глядел на свои бочки мрачно: ему, видно, уже объясняли, что «солонина» рифмуется тяжело, а «свёкла» — никак. Свёклу в академию, поговаривали, с прошлой зимы не возят вовсе. Себе дороже.

— Брюкву тоже, — вполголоса добавили сзади. — На брюкве он в позапрошлом году задумался на три дня. Очередь до заставы стояла.

— А потом?

— А потом брюкву стали называть репой. Всем проще.

А пока страж перечислял капусту, левее ворот, где стена шла глухая, без единой щели, обнаружилось прибытие поважнее обозного.

Сначала сквозь стену прошёл сундук. Сам по себе, углом вперёд, невозмутимо, как входят к себе домой. За сундуком — второй, за вторым — шляпная коробка, и только по-

том Айра разглядела носильщиков: серых, полупрозрачных, в ливреях столетней моды. Слуги-призраки таскали поклажу прямо сквозь камень — жалованья за это, судя по лицам, им не платили уже лет двести.

Возле поклажи, не касаясь снега, ждали трое: дама в мехах — мех был так же мёртв, как и хозяйка, но сидел безупречно — и две девочки в шубках, одинаково серые, одинаково прозрачные. Девочки, как все девочки на свете, вертели головами по сторонам — и одна, конечно, уставилась на Айру в упор.

— Осторожнее, девочки. — Голос у дамы был как сквозняк под дверью. — Не смотрите на живых. Вы же знаете, сколько у них бывает болезней.

Девочек взяли за руки и увели в стену. Камень принял всех троих без звука — только шляпная коробка на миг застряла, и слуга протолкнул её плечом: привычно, как дверь, которую перекосило ещё при жизни.

Обозные лошади всё это время стояли очень, очень смиренно.

— Хладная Графиня, — пояснили сбоку. Старшекурсник с дорожным мешком на плече обходил очередь, не сбавляя шага, — но на лице у Айры, видимо, было написано достаточно, чтобы притормозить. — Первый раз видишь? Она тут давно живёт. Дольше стен, говорят. На лето отбывает в северные земли: летом у нас, по её мнению, слишкомлюдно.

— А зимой?

— Да кто её разберёт, у призраков какие-то свои дела, в которые лучше не влезать.

— Это почему? — искренне удивилась Айра, уже предвкушая истории о проклятье, убийствах и прочих ужасах.

— Они все на удивление идиотские. Прямо вот совсем идиотские. Голого старикана видела? Знаешь, почему он голый? Нет? А я вот знаю. Лучше бы не знал. — Он перехватил мешок поудобнее. — Ладно. Вернулась — значит, всё, зима легла. Она в этом ни разу не ошиблась. Да, и если столкнёшься с ними в коридоре — не заговаривай, не чихай, да и вообще делай вид, что тебя тут нет. А то визгов потом не оберёшься.

И ушёл под арку, оставив намного больше вопросов, чем дал ответов.

Айра проводила семейство взглядом — точнее, стену, которая его приняла. Всю жизнь её сторонились из-за того, что тряслись за свой кошелёк. А сегодня её сторонятся потому, что она живая. Что-то новенькое.

Она протиснулась мимо саней, пешей тропкой. Поравнялась с нишей и кивнула — вежливо, с запасом: от этого сторожа зависело, с какой стороны забора она сегодня ночует.

Каменные глаза нашли её. Скрипнуло.

— Тебя я привечал в минувший год.

Тот стих доселе в силе — до весенних вод.

Второго не проси: излишен переход.

Ступай, адептка Сол. Тебе свободен вход.

— Экономно, — согласилась Айра.

— Что сказано как должно — то не тлеет.

Оно с годами только тяжелеет.

И страж вернулся к капусте.

За спиной снова загремело — про репу и про недовес. А потом, уже ей в спину, страж прибавил к строфе ещё одну, не по делу:

— А тот, кто встал вдали и дальше не идёт,

не всякому даётся сей высокий взлёт.

Ему — оглобли, сани, поворот,

а нам — искусство. Пусть себе живёт.

Пересказывать она не станет. Обещания надо держать — особенно те, которых не давала.

Торопливый в очереди сделался белее собственного пара: до него дошло, что бывает с теми, кто выделился.

В чёрном железе ворот, как и летом, на короткий миг проступил её Знак — узнал. Она кивнула железу как старому подельнику: молчим оба.

Знак под рубашкой шевельнулся теплом — коротко, как здороваются занятые люди. Впереди, над двором, стоял корпус, и пятый этаж его был по-дневному тёмный.

Работает. Кто бы сомневался.

Айра поддёрнула лямку и вошла под арку.

Ну здравствуй, академия. Семья на выезде передавала поклон. Вся, сколько её есть.

Глава 4. Явка засчитана

За аркой её никто не остановил.

В прошлый раз на этом месте была очередь на полдня — с писарем, с горой чужих сундуков, с тётушкой, которая никуда не хотела вестись. Теперь она просто прошла — с сумкой на плече, мимо, внутрь, — и ни одна живая душа не спросила, кто она и куда. Знак на груди, лицо в списках, походка своя. У своих не спрашивают.

К такому она ещё не привыкла. Привыкать было приятно.

Двор жил съездом — вполсилы, по-зимнему. У складов разгружали двое саней. Старший с Клинки нёс сундук на плече легко, как хлеб. Кто-то кого-то хлопнул по спине так, что с карниза осыпался снег. Через двор, наперерез, промчалась девица с воплем «Мои лыжи! Кто взял мои лыжи?!» — и по тому, как незаинтересованно все смотрели ей вслед, лыжи взяли все. Ну а что? Лыжи — продукт ходовой, нечего глазами хлопать.

Академия за две недели сбросила остатки осеннего наряда и всерьёз оделась в зиму. На красной башне лежал снег, на серой лежал снег — чёрная стояла голая: то ли снег её найти так и не смог, то ли она с ним не разговаривала. У водостоков выросли ледяные бороды. Из труб поднимался дым, прямой, столбами — мороз держал его, как держат свечи.

Огоньки зимовали гроздьями: жались в нишах по пять,

по шесть, тесно, как воробьи под стрехой, и грелись друг о друга. Один отделился, подлетел, сделал вокруг Айры круг — доложился — и поспешил обратно в гроздь: холодно.

У большого сугроба возле столовой обнаружился голый призрак-старик. Он стоял в снегу по колено — не проваливаясь, а как бы из принципа — и проводил смотр.

— В моё время мело гуще, — сказал он. Не ей — сугробу. — Мело с понятием. Неделями. Сугроб стоял от ворот до кухни, единый, с настом — по насту телега шла и не спрашивала. А ты что? Навалило тебя за ночь — и доволен. Рыхлый. Ни хребта, ни осанки. С южного бока уже поплыл, я всё вижу. В моё время такие, как ты, до весны не доживали — сами таяли. Со стыда. И правильно делали, потому что сугроб — это не куча, сугроб — это статус...

Айра миновала их между «хребтом» и «осанкой»: уличная наука учила распознавать нотации, у которых не бывает конца, а бывает только разгон.

— ...и я ведь не для себя стараюсь! — догнало её в спину уже у самых дверей. — Мне-то что, я умер! Но тут же Графиня ходит. Её почтенные дочери! Как можно показывать им такой, с позволения, снег?..

Сугроб виновато молчал.

В западном крыле стояла тишина нежилых дверей — полкрыла ещё не съехалось, и шаги отдавались дальше обычного. Зато с её пролёта уже слышалась деловитая возня и мягкий стук перекладываемого добра.

Дверь напротив её собственной стояла настежь, и из неё пахло воском, новым мылом и бойкой торговлей.

Тевр сидел на полу своей комнаты, а вокруг него, как войско на смотре, стояли ряды: свечи вязанками, чай в холщовых мешочках, мыло брусками, и отдельно, на почётном месте, — жестяная коробка, от которой пахло пряником. Сам он держал в зубах огрызок грифеля и что-то писал в тетрадке, шевеля губами.

— О, — сказал он, не выпуская грифеля, отчего вышло «а». Потом выпустил. — С возвращением, соседка. Осторожно, не наступи на третий курс. Вот эти два ряда, у порога, — третий курс, они уже расписаны.

— Вижу, лавка пережила зиму. — Айра прислонилась плечом к косяку, не заходя: пол в этой комнате был витриной.

— Это не лавка. — Тевр даже отложил тетрадку: таких серьёзных вещей с грифелем в зубах не говорят. — Лавка — это где торгуют. А я достаю. По дружбе. Друзей у меня много, у друзей нужды, вот и всё.

— А записи?

— А записываю, чтобы никого не обидеть. По справедливости.

— А третий курс, который расписан?

— Очередь дружбы.

— Как каникулы прошли? Как город? — сдалась Айра.

— Город стоит. Отец кланялся. Я ему про тебя немного рассказал, он говорит: «Держись этой Сол. Сразу видно — честная девушка. Такая плохому не научит!» А, и кстати. — Тевр порылся в рядах, вытащил свёрток и протянул ей через порог. — Это тебе. Свечи, те самые, которые не текут. И пряник.

Честная? Не научит? Ох-хо-хо. Ладно, что он там такое припас?

Айра взяла свёрток и взвесила его на ладони. Свёртка было много.

— Почём?

— Нипочём. — Тевр вздохнул с лёгкой мукой человека, которого всё ещё почему-то воспринимают как торгаша, хотя это очевидно не так. — Отец сказал: соседке — бесплатно. Я говорил, что так нельзя, что это подрывает морально-нравственные устои. Он сказал: и хорошо, что подрывает. Я спорил. Я проиграл.

А, ну это я могу, это я умею.

— Соболезную.

— Переживу. — Он снова взялся за тетрадку, но тетрадка его не удержала. — Новости рассказать? У меня много. Веснушчатый с Клинки на каникулах женился — говорит, само вышло. В лекарской новая кастелянша, порядки завела: теперь всё по журналу, даже чихнуть. А у стража на воротах,

обозные жалуются, новая поэма. Про овёс.

— Уже про капусту. Я под неё входила.

— Значит, цикл. — В голосе Тевра появилось уважение к масштабу. — Отец говорит, возчики скоро доплачивать станут, чтобы через южную стену: с мешками, но без искусства.

По коридору протопали шаги — Тевр аккуратным, привычным движением накинул на пряничную коробку пустой мешок. Шаги ушли к лестнице. Мешок он снял.

— Серак? — спросила Айра.

— Серак вечером приедет. Это так, общая готовность. — Тевр разгладил мешок, как разглаживают рабочий инструмент. — Но при нём коробку лучше не показывать. Он же спросит, откуда пряник. А врать я не умею, ты знаешь. А правда ему не понравится: пряник, скажем так, въехал в академию не через ворота.

— А через что?

— Через то, о чём человеку с тонкой душой знать незачем. — Тевр поглядел на неё честно. — Я его тонкую душу берегу.

Под уважительным взглядом Айры он собрал два ряда третьего курса в короб и ушёл разносить — «пока все по комнатам, потом ищи их».

Айра вернулась к себе. Кровать была её, одеяло — её, вмятина на тюфяке — её собственная, никем за две недели не пересиденная. Странное имущество. Приятное. Она послушала, как в коридоре стихают шаги Тевра — голос его

здоровался с каждой дверью по очереди, — потом встала и подошла к подоконнику.

Камень сидел в кладке плотно, своим, незаметным. Она сняла его без звука, привычным хватом.

Тряпица лежала как лежала. Три листка внутри — как она их сложила той ночью: про куртку и мазь, «Он здесь», «Не ищи». Волосок, которым она перетянула тряпицу перед отъездом, был цел, узелок — её узелок, никем не перевязанный. Никто не приходил.

Она сидела на корточках у стены и смотрела на свёрток дольше, чем требовало дело.

По всем правилам её науки схрон, который знает чужой, — не схрон. Точка, которую засветили, сгорает: выноси, что лежит, и не возвращайся. Правило старое, кровью писанное, и всю осень она жила по нему — а теперь сидела и держала в руках прямое его нарушение.

Он знал это место. Он вошёл, положил и вышел, и по всей её науке отсюда полагалось съезжать этой же ночью.

Она завернула листки обратно в тряпицу и уложила под камень.

А по его науке — он оставил мне дверь открытой. В открытые двери не съезжают. В них смотрят.

И я в них посмотрю. Первая.

На камне, у самого края, зацепилось несколько волосков — короткие, кошачьи.

Серые.

Айра сняла один, покрутила на просвет. Кота она видела не так уж часто — он сам решал, когда его видно, — но уж что-что, а масть его она знала твёрдо: чёрный. Чёрный весь, до последнего уса, без единого серого волоса — темнота в форме кота.

А эти были серые. Все до одного.

— Ты, значит, сторожил, — медленно сказала она пустой комнате. — А поседел с чего?

Комната промолчала. Как всегда, очень содержательно.

Самого сторожа видно не было. Ни на кровати, ни на подоконнике, ни в углу, из которого он любил осуждать. Две недели она про это честно не думала — в городе хватало своего, — а тут вдруг выяснилось, что комната без него стоит какая-то... непроинспектированная.

— Я не скучала, — предупредила Айра на всякий случай. — Даже не надейся.

Она отломил от пряника Тевра угол — большой, несправедливо большой, с глазурию — и положила на край кровати.

— Это не тебе. Это просто лишний.

Напоследок она села на кровать — на дальний от пряника край — и закрыла глаза. Просто так.

Тьма пришла сразу. Гладкая, глубокая, будто никуда и не съезжала: стены на вдох стали стеклом, этажом ниже по стеклу плыло чьё-то тёплое пятно со свечой. В затылке привычно заныло: цена известная.

— То есть тут ты приходишь, — сообщила Айра темноте.

— Прекрасно. Разговор о твоём поведении будет позже.

Темнота не ответила, но присутствовала. Уже что-то.

А когда она открыла глаза, из-под кровати уже высунулась чёрная лапа — неторопливая, хозяйственная — и тащила пряничный угол к себе в темноту, зацепив когтями, как багром. Чёрная, как ей и полагалось. Обычного, будничного чёрного цвета.

— Не смотрю, — сказала Айра и закрыла глаза обратно.

— Не смотрю, не смотрю.

На этот раз она продержала их закрытыми подольше, с запасом. Под кроватью деликатно хрустело.

Когда она открыла глаза, пряника не было, лапы не было, и вообще ничего не было — комната стояла пустая, как и положено комнате, в которой не живёт кот, которого не существует.

Инспекция, выходило, никуда не отлучалась.

* * *

Тай вошла без стука — Тай вообще считала стук формой недоверия, — с мешком через плечо и с морозом на воротнике. Мороз на ней таял быстрее, чем ему положено.

— Так, — сказала она с порога вместо здравствуй. — Стоишь. Живая. Уже хорошо. Повернись.

— Ты меня вчера видела.

— Вчера не считается: было темно, и ты тыкала в меня

черепком. — Тай крутанула пальцем. — Повернись.

— Зачем?

— Мать велела посмотреть, не отошала ли ты за каникулы. Я обещала доложить. — Тай обошла её кругом, сощурившись, как оценщик. Вертикальные зрачки в жёлтом сузились до ниток. — Отошала. Докладывать не буду, а то и самой влетит, буду исправлять на месте.

Мешок лёг на кровать и распахнулся. Оттуда пошло тепло и корица — так плотно, будто в мешке две недели топили печь. Свёртки, горшочек, залитый воском, связка сушёных яблок, ещё свёртки.

— Это всё мне нельзя, — Тай выкладывала не глядя. — В смысле — можно, но мать сказала «отвези подруге», а врать матери я умею только письменно. Держи. Это перечное, от него слезятся глаза и хочется жить. Это яблоки. Это... — она понюхала горшочек, — это не спрашивай, но оно съедобное. Кажется.

— Передай матери...

— Сама передашь. Она сказала: пусть приезжает летом, я посмотрю, кого моя дочь называет своей. — Тай сказала это легко, между свёртками, и только кончики ушей у неё чуть двинулись — по-демонски, самую малость. — Я ответила, что ты занята. Что у тебя учёба, служба и склонность к неприятностям. Она сказала: значит, наша.

Айра аккуратно расправила связку яблок. Яблоки были нарезаны кружками, высушены до звона и нанизаны на нит-

ку, как бусы, — кто-то сидел и делал это руками, кружок за кружком, для человека, которого в глаза не видел.

— Скажи ей... — начала она, и голосу понадобился лишний вдох. — Скажи, что яблоки я оценила.

— Она знает. — Тай нырнула в мешок. — А, вот ещё.

Из мешка, с самого дна, появился голыш — тот самый, речной, гладкий, знакомый до последней щербинки. Тай сунула его Айре в руки. Он был горячий насквозь.

— Возвращаю. У меня он балуется, ему скучно: я и так горячая, ему при мне работы нет. А ты мёрзнешь тихо и никому не говоришь. — Она застегнула пустой мешок с видом завершенной поставки. — Пусть служит: выучка без дела киснет. И отказы не принимаются.

— Есть, командир. Тогда и ты держи. — Айра вытащила узел Павы. — Велено передать. Не мне — тебе.

Тай развязала, сунула нос внутрь и уважительно присвистнула:

— Пава. Ценит. — И, не глядя, пододвинула два пирожка к ней: делилась Тай не думая, как дышала.

— Вооот. — Тай села рядом, от неё повалило жаром — и у Айры сами собой оттаяли пальцы, те, что от самых ворот так и держали холод. — Прощальный обед, кстати, был на шесть блюд. Я героически съела все шесть: мать считает, что в академии кормят плохо и мало, и я не стала спорить с добавкой.

— Правильно. С добавкой вообще не спорят.

— Вот и я так решила. — Тай подтянула колени и посмотрела на Айру сбоку, жёлтым глазом, уже без смеха. — Две недели без этого места. Ни плаца, ни столовой, ни Брека с его «зови, а не тужься». Я чуть не умерла со скуки — вчерашний почтовый не в счёт: почтовые не приключение, почтовые — доставка. Только не говори никому, что я по этому месту скучала.

— Могила.

— Вот и я про то же — даже могилы приличной не случилось. — Она встала и потянулась так, что хрустнуло. — Идём вниз. Ужин через час, а до ужина я хочу посмотреть на доску: вдруг расписание уже повесили, и там опять лектор Эйн с утра. Мне нужно знать заранее, сколько во мне будет смирения.

* * *

Доска в нижней галерее была пуста — ни расписания, ни циркуляров, ни единого завалящего распоряжения. Голая доска. В академии, где бумага плодилась сама собой, зрелище выходило почти неприличное.

— Безобразие. — Тай изучила пустоту с обеих сторон. — Я готовилась смириться, а смириться не с чем. Куда я теперь дену столько выдержки?

— Ты можешь попробовать... смириться с этим?

— Не-е-е-е, смирение так не работает.

Как оно работает, Тай объясняла всю дорогу до столовой. Выходило, что смирению нужен противник. Лучше — два, чтобы было из чего выбирать.

Столовая в первый вечер была полупустой и гулкой: съедалась хорошо если треть, и голоса под сводами ходили редкие, каждый сам по себе. Из котла давали гороховую похлёбку с копчёным салом, и хлеб был свежий — по случаю начала семестра кухня расщедрилась: тренировалась перед большим наплывом.

Они устроились на своём месте, у колонны. Тай наворачивала за двоих и грелась о собственную миску исключительно из уважения к оной.

Айра успела съесть половину, когда напротив, бесшумно, как умеют только очень тревожные люди, возникла Ним — со своей ложкой, разумеется: казённым Ним не доверяла принципиально. Платок на ней был ещё дорожный, не снятый: к столу она пришла раньше, чем к себе. Это говорило о серьёзности дела.

— Ты в крыле живёшь, — шепнула она, поставив свою ложку черенком в стол. — Ты замечаешь. Скажи мне честно: за каникулы в крыле было постороннее движение?

— Меня не было, — сказала Айра. — Я уезжала.

— Знаю. Первым утром уехала, вернулась сегодня до полудня. — Ним сообщила это без нажима, как сверяют список покупок. — Потому тебя и спрашиваю последней. Кто оставался, все говорят — тихо было. Но ты замечаешь то, чего

не было. Вернулась — что заметила?

— А что нужно было замечать?

— Вот. — Она подалась ближе. — Я перед отъездом оставила восемь зачек. Восемь. Приезжаю — восемь. Всё на месте. Ничего не тронuto.

— И?

— И это очень подозрительно, — отчеканила она. — Ровно никогда не бывает. Когда всё ровно — значит, кто-то очень постарался, чтобы было ровно. Я теперь всё перепрытываю.

— Ним, — осторожно сказала Айра, как говорят с человеком на карнизе. — А когда неровно?

— Когда неровно — понятно, кто и зачем. — Ним пожала плечами почти спокойно. — Воры, крысы, нтары — это всё понятно, привычно. Но тут что-то другое. Кто-то нашёл все восемь и решил, что это мелочь. Он ждёт, Сол. Ждёт, пока я заброшу туда что-то крупное. — Она встала, подобрала ложку и уже над столом добавила, глядя чуть мимо: — Я не жаловаться приходила. Просто ты — замечаешь. Если вдруг что... Скажи мне. Можно ночью. Я не сплю, я проверяю.

И ушла перепрытывать. Тай проводила её с уважением.

— Знаешь, что страшно? — Тай подобрала хлебом со дна миски. — В прошлом году я бы засмеялась. А теперь сижу и думаю: а ведь логика железная.

Это я их испортила или они всегда такие были?

За старшим столом, где кучковались съехавшиеся раньше

времени, ходил свой разговор — Айра не слушала, но уличное ухо работает без спроса: «...все осенние разом, я вам говорю, первой же неделей... — ...не имеют права, это инспекция сорвала, не мы... — ...права у них имеются, на то они и... — ...кто первым в очередь на пересдачу, тот, считай, отмутился...» Слова «зачёты» и «очередь» Айра решила до завтрашнего утра считать несуществующими. Ей и за первые несколько месяцев этого добра хватило.

В дверях мелькнул Тевр с коробом на плече и лицом человека, у которого разом сбылись все заказы:

— Обоз пришёл! Серак приехал! — сообщил он на ходу, никому и всем. — У меня для него отложено!..

И сгинул в сторону двора. Тай посмотрела ему вслед и вздохнула с умилением:

— Всё. Семестр начался. Официально.

* * *

Резерв никто не отменял.

Айра выяснила это ещё с лестницы, по бумажке на доске крыла: «Дисциплинарный резерв — согласно установленному порядку». Порядок был установлен осенью, пунктом сорок третьим, и продолжительность его определял ректор. Ректор распоряжений не давал. Пункт сорок третий стоял себе, как стоит забытая на плацу метла — никому не нужная и совершенно законная.

Так что в семь часов вечера первого же дня она поднялась по знакомой лестнице в приёмную.

Приёмная встретила её без перемен: знакомый журнал на краю стола, чернильница с пером наготове — а на подоконнике, заняв его весь, спала Дисциплина. На звук шагов кошка приоткрыла один глаз, опознала — а, эта, — и глаз закрыла: явка засчитана.

Айра расписалась в графе «явка», с удовольствием выведя хвостик — соскучилась. Где-то за одной из здешних дверей сидел писарь, знавший её адреса лучше неё самой. Ему она при случае выведет хвостик отдельно.

Дверь кабинета стояла приоткрытой — на ладонь: хочешь — считай приглашением, хочешь — не считай.

— Адептка Сол. Зайдите. — Голос из-за двери решил за неё.

Нет, всё-таки определённо приглашение.

В кабинете горели свечи, пахло чернилами и — слабо, самую чуточку — грозой, как пахнет за час до неё, когда небо ещё чистое, но ты уже знаешь, что скоро промокнешь до нитки. За столом, за перьями и стопками, сидел ректор Архонтии, небезызвестный в узких кругах (в лице Айры и Кота) как И. Дейн. Он работал с таким видом, будто две недели никуда не девались, а просто стояли в очереди на подпись. Шкаф, к которому подходил ключ в её манжете, стоял себе у стены — смирный и никакой. Она на него старательно не посмотрела — так старательно, что это, наверное, было слыш-

но.

— Докладываю: за время каникул дисциплина не нарушалась.

— Занесу в характеристику. — Пауза перед словами была на месте — та самая, отмеренная, с которой снимают заготовленное с полки.

— Не было возможности.

Ну, одну возможность мы всё-таки улучили — скрутили и избили несчастного почтаря. Но это ведь не считается?

— Я догадывался, что причина административная. — Он отложил перо, подвинул его к краю стола — на волос, из чистого принципа, — и выдвинул нижний ящик. — Раз уж вы проявили упорство и явились туда, куда вас никто не звал...

— Меня звал пункт сорок третий.

— ...то заберите то, что вам причитается.

На стол лёг пакет. Плоский, перевязанный бечёвкой — казённым узлом: такие она уже развязывала, летом, на чужих бумагах. Внутри угадывалась бумага тонкая, почти папиросная, из той, на которой пишут то, что при случае легко перестает существовать.

Айра не взяла. Сначала посмотрела.

— Вы говорили — до конца недели. — Она подняла бровь. — Это было до каникул.

— Я обещал до конца недели. — Ректор вернулся к перу. — Я не уточнял, которой. В документах точность формулировок — это всё.

Он это заготовил. Наверное, даже репетировал перед зеркалом. Адептка Сол, я не уточнял, которой именно. Бу-бу-бу, я важный ректор.

— Благодарю. — Айра взяла пакет — со стола, не из рук: из рук было бы ближе, чем у них заведено. Пакет был легче, чем весила его цена. — Здесь всё?

— Всё, что было в коробе. Слово в слово. — Пауза. — Читайте не там, где спите. И не там, где едите. У вас, полагаю, есть третьи места.

— У меня есть места, о которых не полагают.

— Доверяюсь вашему профессионализму.

Она убрала пакет за пазуху — он лёг вдоль ребра, тонкий, тёплый от свечей, — и пошла к двери. У самого порога её догнало:

— Адептка.

Айра обернулась. Ректор сидел над бумагами, не поднимая головы, и перо его шло по строке спокойно, без нажима.

— Семестр начинается завтра, — напомнил он. — Постарайтесь в этом году обойтись без перегрузок учебных артефактов.

— Я слышала, они перегружаются сами.

— Разумеется. — Перо дошло до края строки. — Но замечено: при вас — чаще.

— Совпадение.

— Безусловно. — Он перевернул лист. — Спокойной ночи, адептка Сол. Явку я засчитал.

Двор лежал синий от снега, и фонари в нём стояли редкие, честно жёлтые, каждый в своём круге, а между кругами жила зима. Айра шла через двор тёмными промежутками, между кругами света, — по привычке, которая переживёт любую честную жизнь, — и пакет ехал у ребра, шурша при шаге, как маленький сообщник.

На середине двора она остановилась. Сама не сразу поняла зачем.

Окно ректорского кабинета горело высоко и жёлто. И силуэт в нём — прямой, узнаваемый по одной линии плеч — стоял не над столом. Он стоял лицом к стеклу.

К ней.

Между ними лежал целый двор темноты — той, в которой её не нашёл бы ни один сторож с самым лучшим фонарём. Архонтиды, положим, видят в темноте — это она знала на собственной шкуре. Но одно дело видеть в темноте, и совсем другое — найти в ней человека, которого три года учили в ней не быть.

Силуэт в окне поднял руку. Не помахал — просто поднял, ладонью к стеклу, и подержал: вижу.

Не должен. По всем правилам — не должен.

Айра постояла ещё немного. Потом подняла руку и ответила — тем же, ладонью в темноту.

Свет в окне погас — вежливо, как гасят, пожелав спокойной ночи.

До крыла Тени она дошла, ни разу больше не оглянувшись, и только у самой двери разрешила себе договорить. Мыслей было две — на одну больше, чем ей хотелось бы.

С первой — что в этой академии есть один-единственный человек, от которого ей не спрятаться в темноте, — ещё можно было жить.

Вторая была хуже: прятаться не хотелось.

Плохой признак, — отметила она, толкая дверь. — Так воровки и кончаются.

Глава 5. Расписание

Слова «зачёты» и «очередь» пережили ночь.

Вчера Айра постановила считать их несуществующими, и до утра они честно не существовали. А утром спустилась в нижнюю галерею, увидела толпу у доски — и поняла, что слова за ночь не только воскресли, но и размножились, обзавелись печатями и вывесились на всеобщее обозрение в три листа.

Копии из ректорского пакета она к тому времени уже прочла — до рассвета, не там, где спит, и не там, где ест. Ничего нового бумага не сказала: всё это она уже видела летом, в чужом коробе, при чужой свече. Но теперь бумага была её, и лежала там, где о ней не знали. Разница небольшая. Её любимый размер.

Начиналось утро, между прочим, неплохо. В бельевой к семестру выдавали свежее бельё — и полотенце ей досталось стоячее: за каникулы в сушильне одичало какое-то плетение, и бельё теперь выходило оттуда твёрдым, как доска, и форму держало намертво. Полотенца не складывали — их прислоняли. Старшие говорили: к оттепели пройдёт само, но уже ползли слухи о том, что кто-то проломил полотенцем стену. Айра прислонила своё к стене у таза — оно стояло, как маленькая белая дверь, — и решила, что академия по ней тоже скучала. По-своему. Как умеет.

А потом была доска.

— Подвинься. — Тай работала плечом. Толпа перед доской стояла плотно, как при оглашении завещания, — и так же молча. — Так. Ага. Ага! Лектор Эйн. К девяти. Первым же утром.

— Соболезную.

— Не смей. — Тай повернулась с сияющим лицом. — Я вчера полвечера объясняла тебе, что смирению нужен противник. И вот, пожалуйста: доска услышала. Лектор Эйн, к девяти, три раза в неделю. Это уже не расписание. Это выдача противников по списку. О боги, я его просто уничтожу своим смирением!

Средний лист был хуже расписания. Казённый, с печатью, он коротко извещал, что «перенесённые по осени» зачёты будут приняты в первые три недели семестра, «согласно прилагаемому списку». Перенесённые. Красивое слово для сорванных визитами всяких непонятных шишек. Список прилагался. Толпа читала его снизу вверх и сверху вниз, и над галереей стоял сплошной тихий стон — так стонет лёд, когда начинает проваливаться прямо у тебя под ногами.

Свою фамилию (ну как свою...) Айра нашла быстро — глаз у неё был на это дело намётан. «Сол Р.» — и два хвоста: у декана Виерны и письменный у лектора Эйна.

Ну здравствуйте.

Несуществующие слова подкрались из самого тёмного переуллка и всадили ей сразу две заточки в бок. Восхитительно.

— Не понимаю, чего все воют. — У самой Тай хвостов оказалось три. — Осенью же было понятно, что этим кончится. Инспекция уехала, зачёты остались. Зачёты вообще всегда остаются. Это их главное свойство. Говорю тебе — к весне у каждого будет штук по десять. Надо будет копить ещё смирения.

Третий лист был самый маленький, и его читали дольше всех.

Собственно, листа было два, они висели рядом, углом к углу. Первый сообщал, что в середине зимы академию посетит с ознакомительным визитом дом Кер — «с сопровождением». Второй, ещё короче, — что для рассмотрения текущих вопросов прибудет куратор Совета. Опять. И что ему неймётся? Да, именно так и было написано в объявлении. Любопытно.

— Так, — протянула Тай и склонилась к листу, как к чужим картам. — Смотри, как интересно. Дом Кер. Ознакомительный визит. Зимой. С сопровождением. Знаешь, кто у дома Кер сопровождение? Дочь. Старшие уже всё посчитали: незамужняя дочь, охотничья линия, смотреть тут нечего, кроме одного человека. Едут смотреть жениха. Жених — ректор. Мне уже смешно. А тебе?

Ха. Ха. Ха.

— Очень, — сказала Айра.

Вышло на полтона суше, чем она заказывала. Тай, к счастью, списала это на мороз.

Смешно ей, впрочем, было. Просто слово «куратор» на соседнем листе она уже прочла, и сидело оно там, как гвоздь в сапоге: идти можно, забыть нельзя. Куратор Совета у них осенью уже гостил. По текущим вопросам. Она хорошо помнила, какие вопросы оказались текущими и в какую сторону они текли.

— Иллюзии. После полудня. Нижний зал. Мы. — Юст возник рядом с тетрадкой, куда переписывал доску подряд, всю, с печатями. Посмотрел на Айру поверх тетрадки и уточнил с сомнением: — Все мы. Ир украл расписание, говорит, нашёл в профессорской уборной.

— Который?

— А я откуда знаю? Тот, что с расписанием! — отмахнулся Юст, всем видом показывая, что у него тут работы ещё непечатый край, и вернулся к срисовыванию печати.

* * *

Нижний зал Тени был из тех помещений, где окна, может, и были, но их давно уже украли. Или спрятали настолько хорошо, что и сами уже не могли найти. Так что теперь — только голые стены и ничего, что могло бы отвлечь адептов. Свет давали лампы — голубоватые, вполсилы, — и от этого предметы, расставленные по залу на табуретах, ящиках и просто на полу, выглядели как имущество, вынесенное после маленького пожара: кувшин, стопка мисок, коврига, яб-

локи на блюде, свёрнутый плащ, фонарь.

Шестеро первокурсников Тени стояли у стены и на имущество смотрели с подозрением. Подозрение было заслуженное.

Виерна появилась, как появлялась всегда: воздух посреди зала просто перестал быть пустым, и Виерна уже говорила — негромко и без выражения, а слышно каждому.

— Семестр начался. Поздравлять не буду. — Она поведла рукой в сторону того, кто вошёл следом — обычным способом, через дверь, как люди. — Ассистент Вар. Четвёртый курс. На моих практиках его слово — моё слово. Это всё, что вам нужно о нём знать.

Ассистент Вар оказался среднего роста, тёмно-русый, с серыми глазами и с той неторопливой повадкой, по которой Айра безошибочно узнавала людей, умеющих работать руками. Он оглядел шестёрку без всякого начальственного удовольствия — просто пересчитал — и кивнул:

— Кеонис. Можно без «ассистента», я не обижусь. — Голос у него был негромкий, неспешный, но живой — без деканского холода. — Обижаться на первом курсе буду не я, а вы. Это нормально. Это пройдёт.

— Осенью вы учились видеть чужую работу, — продолжила Виерна. — С этого дня начнёте делать свою. Каждый берёт вещь. К концу занятия рядом с вещью должна стоять её ложь: морок, простой, только для глаз. Получится плохо. Это нормально. Хуже, чем сегодня, у вас уже не будет нико-

гда.

Шестёрка разобрала имущество. Айре достался кувшин.

— Смотрите. — Кеонис встал у ближнего табурета, над мисками. — Покажу медленно. Кому не хватит — покажу ещё. Обычно хватает раза с четвёртого.

Он поднял руки, повёл пальцами — и между ними проступила нить. Узор пошёл расти — узел к узлу, неторопливо, как иней по стеклу, только иней послушный, — и рядом со стопкой мисок встала вторая. Наряжена правильно, а родни нет. Постояла, сколько ей велели, и растаяла. Первокурсники выдохнули хором. Красиво было, этого не отнять: чужая ложь всегда выглядит лучше, пока не начнёшь вязать свою.

Попробовали.

Дальше начался кошмар — как и было обещано. Нити не шли, а если шли — рвались и хлестали хозяев по рукам. Узлы расползались под пальцами. Чей-то недовязанный морок сдуло сквозняком из-под двери, и он уплыл в угол, колыхаясь. Посреди зала повис колтун — клубок спутанного света. Чей — не признался никто.

Зато к середине занятия почти у каждого что-то да вышло. Слово «что-то» здесь несло всю тяжесть смысла.

У Ним вместо миски вышла ложка. Мятая, мутная, вдвое больше настоящей — но безошибочно ложка.

— Задание — миска, адептка Ним, — заметил Кеонис, подходя.

— Я знаю. — Ним смотрела на неё с ужасом: в хозяйстве

завелась неучтённая вещь. — Она сама.

— Бывает, — утешил Кеонис. — Узор отдаёт то, что человек знает лучше всего.

Ним кивнула, не отводя глаз от лишней ложки, и свободной рукой прижала рукав — проверить, на месте ли настоящая.

То, что вышло у Юста, на фонарь не походило. Оно вообще ни на что не походило — просто стояло и слабо светилось изнутри, как гнилушка: что-то фонарное в нём всё-таки завелось. Убирать его Юст отказался.

— Он с натуры, — заявил Юст с достоинством и повернул к стене ту сторону, которую считал худшей.

У Тевра после получаса боя вышло нечто, похожее на тесто, которое уронили с телеги, а поднимать не стали. Зато оно пахло. Тепло, по-печному — громче, чем настоящая коврига на соседнем табурете.

— Про вид отцу не рассказывайте, — попросил Тевр, гордый и убитый разом. — Про запах расскажу сам.

Кеонис задержался над его табуретом, повёл носом и поднял бровь:

— Любопытная ошибка. Захотите повторить — не выйдет.

Тевр просиял.

Морок Кейры сработал немного не так, как ожидалось: вместо яблока — хлопок и вспышка, от которой присела вся шестёрка. Сама Кейра не присела. Стояла очень прямо, во-

лосы дыбом, и по лицу было видно: какой узел виноват, она уже поняла и больше так не сделает. Близнецы были на одно лицо и на один шаг — их полсеместра путал даже Юст. А вот узлы, как выяснилось, они вязали по-разному.

Ближе всех подобрался Дайн: рядом с его настоящим яблоком на вдох — на один вдох — вставало второе, целое до черенка, и таяло.

— Видели? — Кеонис повернулся к залу. — Вот это был морок. Один вдох — но был. Было — значит, будет.

— Узел разобрала Кейра. — Дайн говорил, как двигался: коротко и без лишнего. — У меня просто нить сговорчивее.

Кеонис кивнул и ничего не добавил. Айре это понравилось.

У самой Айры дела шли в точности так, как она ожидала. Она развела ладони над кувшином, позвала — нить не пришла. Нить не приходила никогда, на этот счёт у них с нитью было полное согласие — ещё с осени, с первого показа крови. Только осенью пустая ладонь была в порядке вещей: не выходило почти ни у кого. А теперь она стояла с пустыми руками посреди зала, где у всех хоть что-то, да вставало.

Кеонис подошёл без спешки и без того сочувственного лица, от которого хочется что-нибудь украсть.

— Канал спящий?

— Спит. Будить пробовали — не отзывается.

Кеонис встал рядом, боком, как встают не над учеником, а у верстака.

— Тогда работаем с тем, что не спит. Смотрите за руками и повторяйте пустыми. Рука учится раньше крови: проснётся канал — а хват уже готов. Проверено на людях. В обе стороны.

И он стал вязать — медленно, напоказ, узел за узлом, раскладывая движение, как для подмастерья. Для Айры это было всё равно что слушать, как человек по слогам читает вывеску, которую она видит насквозь — до столба, на котором та висит: узор лежал перед ней весь, с каждой петлёй, с каждым хитрым перехватом. Она старательно повторяла пустыми руками — чуть медленнее, чем могла бы, и чуть корявее, чем выходило само.

Да уж, это тебе не котёл драить.

Виерна прошла мимо с листом, глядя в лист.

— Каналы просыпаются к зиме, — сказала она листу. — Какие-нибудь — обязательно.

И пошла дальше.

Под конец Кеонис прибирал за первым курсом — кучку за кучкой, как убирают инструмент после работы. Подходил, поднимал руку, и чужая недовязь расходилась у него между пальцев быстро и без остатка: раз — и на табурете пусто. Светящуюся кучку Юста он распустил с заметным уважением к натуре, а дольше всего провозился с ничейным колтуном: тот сопротивлялся. Работа была чистая, хват скупой, не напоказ. Айра отвела глаза раньше, чем досмотрела.

Новые глаза на практикуме — новая арифметика. При Ви-

ерне она знала, сколько можно. При новом — ещё нет.

* * *

К ужину столовая набрала полный голос: съезд докатился, скамьи заполнились, пар над раздачей стоял столбом, и в этом пару, как в хорошей бане, отмокали с мороза все три факультета разом. Давали щи — густые, с костью. Осенью о таких харчах Айре и мечтать не приходилось. А тут на тебе. Дают бесплатно, да ещё и отобрать не пытаются. К этому она собиралась привыкать долго, с чувством, никуда не торопясь.

За такое где-то капает счёт. Всегда капает. Не несут — значит, копится.

С той части, где располагались старшие курсы, долетал какой-то гомон — то ли того самого жениха чествовали, то ли кто-то подрался, а может, и то и другое разом.

На скамью напротив тем временем село сразу много всего: стопка книг, миска, локоть, извинение. Потом всё это утряслось и оказалось Вереном. Ложка его немедленно поползла со стола — он прихлопнул её локтем, не глядя: вещи от него бегали всю жизнь, и ловить он давно приноровился.

— С возвращением, — сказал Верен и подровнял стопку, чтобы корешок лежал к корешку. — Хорошо, что вы приехали. Я тут посчитал кое-что за каникулы.

— Ты же вроде никуда не ездил? — Тай придвинула ему

хлеб.

— Я и не ездил. Я оставался. Каникулы в архиве — лучшее время: никого нет, тихо, никто не мешает.

— И что ты насчитал? — спросила Айра. Просто так спросила, из вежливости.

Зря это спросила. Ведь хороший, тихий, мирный день же был. Могла бы просто «угу» выдать, да и хлебать свои щи дальше. Отбывать резерв, ходить на занятия и старательно делать вид, что вот-вот у неё проснётся канал. Но не-е-е-ет...

— Девятнадцать. — Верен сказал это негромко, как называют цену. — Девятнадцать отчислений «по семейным обстоятельствам» за пять лет. И ни одного письма после. Ни одного, я проверил входящие за все пять лет. Люди уезжают домой — и как в воду. Даже за вещами никто не написал. А вещи, между прочим, остаются: год лежат в кладовой, потом их списывают. Я нашёл графу.

Ложка Тай остановилась над миской. Сама Тай дожевала, проглотила — но это была уже тихая Тай, а с тихой шутки кончались.

За вещами возвращаются. Это Айра знала твёрдо, всей своей улицей: человек может не вернуться за долгом, за словом, за кем угодно. За сапогами возвращаются всегда.

— Кому ещё говорил? — поинтересовалась она тем же голосом, каким просят передать соль.

— Никому. Я умею молчать. — Верен подумал и уточнил:

— По большей части.

— Вот и помолчи ещё. Не здесь.

— Понял. — Он придвинул миску, зачерпнул и добавил, уже в щи, тише прежнего: — Она пять лет лежала на самом виду, эта цифра. Никто не заметил. Я цифры замечаю.

На самом виду — место надёжное. Уж кому знать.

Спасать разговор не пришлось: его спас Тевр. Он подошёл с тетрадкой под мышкой и с таким выражением, будто у него в хозяйстве завелась нечистая сила. В сущности, так оно и было.

— Минус три, — сообщил он без предисловий и сел. — Пряника. Вчера был минус один, я списал на усушку. Но никакая усушка не съедает целых три пряника.

— Мыши? — предположила Айра, мысленно проклиная ту самую здоровенную чёрную мышь, которая была замечена у неё под кроватью.

— Мыши крышек тоже не открывают. — Тевр раскрыл тетрадку, где всё уже было записано столбиком, и оглядел стол с надеждой на понимание. — А эти — открывают. Аккуратно. И глазурь выедают с угла. Мышь, которая выбирает, где у пряника глазурь, — это... — Он пошевелил пальцами, подбирая слово, и не подобрал. — Я не знаю, кто это.

— Ценитель, — сказала Тай.

— Вот! — Тевр благодарно ткнул в её сторону пальцем. — Ценитель. Заведётся же такое у честного человека.

Айра сочувственно кивала. Ей было что рассказать про

ценителя — пуда полтора живого веса, если по вмятине на тюфяке, — но у них с этим пудом был уговор: она не смотрит, его не существует.

У дверей учебной части, мимо которых шли после ужина, уже сидел первый человек с одеялом: спиной к косяку, узелок под рукой, всё по-хозяйски. Очередь на пересдачи должны были открыть только с утра — он пришёл с вечера. Видно было, что человек этот в своей жизни уже раз опоздал и выводов наделал на всю оставшуюся.

— Уважаю, — понизила голос Тай. — Вот это, я понимаю, смирение. Не то что у некоторых.

— У кого это у некоторых?

— Не знаю. У меня? У тебя? У Верена? Да, вот у него со смирением проблемы явно посильнее моих.

— У Верена? — искренне удивилась Айра.

— Ага. Он нам всем ещё жару задаст, уж я-то в этом разбираюсь.

* * *

Резерв никто не отменял, и в семь она поднялась в приёмную. Сходила бы, положим, и без всякого пункта — но этого она себе пока не говорила. Самообман — самый честный из обманов.

Дисциплина спала на подоконнике, заняв его от косяка до косяка. Вчера явка Айры заслужила один приоткрытый глаз.

Сегодня не заслужила ничего: подумаешь, ходят тут каждый вечер.

Айра расписалась в журнале. Роспись «Сол» за осень отросла, заматерела и обзавелась хвостом — из всего, что она навыдумывала в первый день, роспись удалась, пожалуй, лучше всего. Возможно, стоило бы даже вырвать эту страничку и повесить на стену, как образец идеальной подписи. Хотя порча уже второго журнала явно не пойдёт на пользу её деловой репутации. Так что идея признана блестящей, но пока отложена до лучших времён.

А дверь кабинета тем временем была приоткрыта — на ту же ладонь, что вчера.

— Адептка Сол. Присутствие можно отбывать сидя.

Стул для ожидающих стоял в приёмной у стены — и не там, где вчера: на шаг ближе к лампе, туда, где светлее. Айра отметила это, села и никак не стала себе объяснять.

Достала библиотечный том по истории — толстый, казённый, с чужими закладками. Лектор Эйн, письменный, четыре дня.

Час резерва шёл, как идёт снег: тихо и не мешая. За дверью скрипело перо. На подоконнике посапывала Дисциплина. Страницы переворачивались — его толстые, слышные даже отсюда, её тонкие. Раз в страницу-другую её задевал из-за двери взгляд — короткий, поверх бумаг: на месте, цела, не голодная. Так свиней во дворе обычно пересчитывают.

Пересчитал. Сошлось.

Ближе к восьми перо за дверью остановилось, и Айра узнала эту тишину: у тишины был подготовленный вид.

— Знаю, — сказала она, не поднимая головы от книги. — «Надеюсь, первый учебный день прошёл без происшествий, adeptка Сол». Прошёл. Отвечаю заранее — а паузу можете потратить на что-нибудь ещё.

Тишина за дверью удлинилась. Самую малость, на ноготь, — но там определённо что-то пересобирали.

— Я собирался спросить другое.

— Что же?

— Тепло ли в западном крыле?

Айра покосилась на дверную щель. В щель было видно немного: угол стола, рукав, перо. Перо писало прилежно, как первый ученик.

Заменял. На ходу заменил — и даже не поморщился.

— Тепло, — сказала она.

— Хорошо. — Судя по звуку, перо добралось до новой строки. — Зимой это выходит не во всех крыльях. Пишите вашего лектора Эйна, adeptка. У вас четыре дня.

Про четыре дня она ему не говорила.

В восьмом часу из-за двери сообщили, что резерв на сегодня исчерпан. У порога Дисциплина всё-таки приоткрыла один глаз, жёлтый и нахальный, и довела её взглядом до самой двери: пересчитала на выходе.

Через двор она пошла, как ходила всегда, — стороной от света.

И на полпути поняла, что двор не такой, каким был вчера.

У западной стены горели огни. Не фонарь сторожа — несколько огней разом, низко и кучно, и возле них двигались люди: стража, ещё стража, кто-то в тулупе поверх исподнего. Голосов почти не было слышно. Когда ночью случается пустяк — кричат. Над бедой стоят тихо.

Айра взяла к стене — не к огням, а краем, тенью вдоль поленницы. Ближе было незачем: с её места было видно всё. Больше, чем хотелось бы.

Человек лежал у самой стены, навзничь, и зима уже прибирала его к рукам: снег прошил складки одежды тонкими белыми швами. Кто-то из стражи поднял фонарь, и свет дошёл до лица.

Ир.

Боги милостивые...

Она поняла, что сделала полшага из тени, только когда под сапогом скрипнул снег. Три года её ноги лишних полушагов не делали. Сегодня сделали.

Лицо было то самое — единственное во всей академии, которое ходило по ней дважды. А вот которого из двоих сейчас держал снег, с такого расстояния не сказал бы никто:

близнецов путала вся шестёрка, путал Юст в глаза, путал, поговаривали, даже куратор по списку. Одно лицо на двоих. Одно из двух — в снегу.

Который?

Осенью, в самый первый день, не зная в этих стенах ни одной двери, она пошла за близнецами — они одни во всей толпе шли так, будто знали куда. Семестр они простояли с ней в одном строю, отработали в одних парах, отмолчались одним молчанием. Ещё после полудня оба были живые, в трёх шагах от неё, в Нижнем зале. Своих у Айры за всю жизнь набралось — раз-два и обчёлся. Вчера ей казалось, что счёт пошёл в рост.

К этому не пришло ничего. Ни колкости, ни присловья. Вообще ничего.

Подошёл лекарь, на ходу стягивая рукавицу. Опустился, взял запястье, потом шею. Пальцы он держал долго. Дольше, чем держат живому.

Айра стояла на границе тени — уже не в ней, ещё не на свету — и смотрела, как чужие руки делают над своим чужую работу. Помочь тут было нечем. Подойти было нельзя. Оставалось единственное, что она умела делать в любом состоянии.

Она смотрела на снег.

Снег между стеной и фонарями лежал старый, слежавшийся, ровный — и следы по нему шли одни. Одна цепочка, от двора к стене, спокойным шагом.

Его.

Вторые она искала взглядом долго — по кругу, по краям, у поленницы, вдоль стены — и только потом поняла, что делает.

И что вторых нет.

Глава 6. Одна цепочка следов

Спать она и пробовать не стала.

Лежала, слушала, как затихает крыло — по коридору ещё долго ходили, хлопали двери, кто-то шептался через порог, — и считала. Считать было её всегдашним спасением: выходы, монеты, шаги. Только сейчас счёт выходил один и тот же, короткий, и никак не желал меняться: их было двое. Стало — один.

Ир. В снегу.

После полуночи она поднялась, оделась в тёмное и вышла. Наука её на такие дела была твёрдая: на место, где случилось, не возвращаются. Место после беды — что капкан со взведённой пружинной, туда ходят дураки и виноватые. Айра шла и утешала себя тем, что уж она-то ни в чём не виновата.

Утешение не работало. Совсем.

Двор лежал синий, простроченный жёлтым под фонарями. Луна работала вполсилы, из труб тянуло редким ночным дымом — академия спала или прикидывалась. У западной стены место огородили: колья, верёвка, на верёвке казённая бирка. Поодаль горела жаровня, при жаровне грелся страж — и стоял он не как греются, а как стоят при начальстве: столбом, утопив подбородок в воротник.

Мертвеца уже убрали, а на его месте теперь красовался кое-кто другой.

Ректор Архонтии сидел на корточках у мёртвой цепочки следов, сняв перчатку, и держал пальцы над снегом — над самым отпечатком, не касаясь. Будто боялся прикоснуться. Ну или ждал, что из снега что-нибудь выпрыгнет и заскочит ему прямо в раскрытую ладонь. Не выпрыгнуло. Он опустил руку и коснулся следов.

Пальцы дрожали.

Айра следила из тени поленницы, дыша в рукав, и сперва решила: замёрз. Живой всё-таки человек, хоть и ректор, а мороз к ночи озверел окончательно — такой голую руку наказывает сам, без всякого устава. Но он поднялся — и руку в перчатку не убрал. Так и пошёл вдоль цепочки с голой рукой, будто мороза ему этой ночью не завезли.

А пальцы всё равно дрожали.

Шёл он, к слову, грамотно: рядом со следами, ни разу не наступив, — как скупщик вдоль чужого прилавка. Смотреть смотри, руками не трожь. У вмятины — единственного, что снег сохранил от человека, — он простоял дольше всего. Ничего не делал. Просто стоял, как стоят в доме, который только что обнесли вчистую.

Где это ректоров учат читать следы?

Потом резко развернулся и ушёл, не оглядываясь. Страж проводил его взглядом, выдохнул и осел обратно в человека, которому просто не повезло с вахтой.

Через четверть часа он уже дремал, сидя у жаровни, честно и по-солдатски: вполглаза, вполуха. Айра выждала ещё —

щедро, с запасом, как учит улица, — и пошла.

Двор она перешла по тени, с носка, как учили, — снег под ней молчал. Мороз пах калёным железом и дымком жаровни, ноздри слипались на вдохе. У цепочки следов она присела с другой стороны, так, чтобы следы легли между ней и огнём. Старый приём: свет в лоб делает след плоским, а в косом свете след рассказывает о себе всё, что знает.

— Ну и что ты мне расскажешь? — спросила она у цепочки. Шёпотом.

Цепочка оказалась весьма болтливой.

Сперва — общее: вся картинка, потом уже пальцы. Шла цепочка от угла двора наискось к стене, шагов на семьдесят, и начиналась не у дверей крыла и не с дорожки, а с утоптанного пятака, где за день следы сбились в сплошное месиво. Значит, там покойник и стоял, прежде чем пойти к стене. Стоял и, похоже, ждал.

Вдоль самой цепочки уже наследили свои — стража, лекарь, те, кто нёс: топтались по обе стороны, не глядя под ноги. Ей это было на руку. Где натоптали свои, чужого следа не спросят.

Дальше — шаг. Айра приложила ладонь к промежутку между следами: раз, другой, пятый. Промежуток был один и тот же, до пальца. Живой человек так ночью не ходит: по чужому двору либо спешат, либо крадутся. Этот шёл, как ходят днём по знакомой улице — легко, мерно, без единого пятна, где топчутся и решают. Он не решал. Ни одного сби-

того шага, ни одной оглядки.

Так идут за человеком, который позвал.

Его привели. Он шёл сам — за кем-то, кого здесь уже не было.

Она пошла вдоль цепочки, пригнувшись, шаг за шагом. Колени скоро задеревенели от холода, пальцы в рукавах пришлось отогревать по очереди. На третьем десятке следов цепочка рассказала второе. Отпечатки лежали глубже, чем положено: Айра поставила свой сапог рядом, надавила, сравнила лунки — её вышла мельче. А хозяйина цепочки она знала — семестр в одной шестёрке: щуплый, на полголовы её ниже. Близнецы были одной мерки. Так не бывает. Лёгкие люди глубоких следов не оставляют.

А на двух поворотах, где цепочка брала в сторону, край следа двоился: узкий второй оттиск, сдвинутый на палец, как бывает, когда в один след ступают дважды — и во второй раз носком не туда.

Вот и разгадка глубины: в эти следы ступали не один раз. Кто-то прошёл по цепочке после него, положив свой вес поверх чужого шага. Туда — след в след. И обратно — след в след, спина к спине с покойным.

Айра присела на пятки и послушала, как в ушах стучит собственная кровь.

Водить человека ночью через двор — так, чтобы он шёл сам, легко, в охотку, за кем-то, кого нет, — это не студенческий морок с кувшином. Она вчера видела, как такое вяжет-

ся, — медленно, узел за узлом, напоказ. Ночью, на ходу, без единого сбитого шага у ведомого — это работа того сорта, за которую в её прежнем мире платили бы годовое жалованье стражи. Она прикинула, у скольких в этих стенах рука набита на такое.

Пальцев выходило — на одну ладонь.

Оставалось место у стены. К нему Айра подошла в последнюю очередь — потому что меньше всего хотела подходить.

Вмятина от тела уже подёрнулась свежим снежком, и для всякого честного глаза это была вмятина как вмятина. Крови нет, раны нет: замёрз человек, сердце встало, бывает. Так, наверное, и запишут.

Айра оглянулась на жаровню. Страж дремал по-солдатски, вполглаза, и в ближайшую четверть часа ему было не до неё.

Она присела на пятки, положила ладони на колени и закрыла глаза.

Ну. Иди сюда. Один раз.

Оно помедлило — оно вообще ничего не делало по первому слову, с ним всегда договаривались дольше, чем ей хотелось.

Потом мир ушёл.

Двор встал за стеклом. Мороз перестал щипать, снег перестал скрипеть, и осталась сухая выстуженная тишина, в которой слышно было только собственную кровь. Камень сделался очертанием. Стена сделалась очертанием. У жаровни

тёплым пятном лежал страж, и от пятна вверх шла тонкая нитка — дыхание.

А там, где лежал человек, не было ничего.

Не темнота: темнотой тут было всё. Пустое место, с которого нечего взять, — так стоит в лесу выжженный пенёк посреди живого. Снег вокруг отвечал хоть чем-то, слабо, поснежному. Это место не отвечало вовсе. Был полный карман — стал вывернутый.

Она подержала, сколько сумела. Вдоха на два.

Мороз вернулся весь сразу, и снег под коленом опять скрипнул. В затылке набухло и потянуло, во рту сделалось железно.

Дорого. За два вдоха — непозволительно дорого.

Объяснить это страже она не смогла бы. Показать — тем более: смотреть сюда так, как посмотрела она, здесь было некому.

Уходила она, как учили: по своим же следам, шаг в шаг, спиной вперёд до самой тени — чтобы утром никто не спросил, кто тут топтался ночью.

На середине отхода она и споткнулась. Замерла с занесённой ногой, глядя на собственный след, в который собиралась ступить второй раз.

Одна школа. У неё и у того ночного мастера, выходит, была одна школа.

К себе она вернулась тем же краем тени и уже у крыла, сама не зная зачем, посмотрела вверх, на знакомое окно.

Окно было тёмное.

Ир. В снегу.

* * *

К завтраку академия гудела — низко, вполголоса, как гудит улей, в который постучали. В таком полугуле ложки звякали о миски неприлично громко. В обычное утро их не было слышно вовсе — и непривычнее всего было именно это.

Овсянка была горячая, с маслом, и есть её было странно: ложка работала, а вкуса не было.

Вокруг торговали версиями, и Айра слушала, как слушают торг у чужого прилавка: кто сколько даст.

— На спор полез, — давали дёшево с края стола. — На стену, ночью. Сорвался, ну и всё.

— А спорил-то с кем?

Спорщика не нашлось — ни за этим столом, ни за соседними. Цену никто не поддержал, и её сняли.

— Белые деревья, — давали дороже, шёпотом и наискосок. — Он в рощу ходил, мне пятикурсник говорил. А кто белое дерево тронет, за тем оно само...

— Да иди ты со своими деревьями!

— А чего тогда ни раны, ни крови? — Голос был совсем молодой и сам не рад своему вопросу. — И лицо, говорят, спокойное. Лежал, будто спит.

Вот это на торге не пошло. Дорогой товар, неудобный: все

посмотрели в свои миски, и разговор сам собой перескочил на пересдачи.

Старшие в торг не входили вовсе: молчали и берегли вопросы.

— Ир — который? — спрашивали через стол у знающих.
— Дайн? Кейра?

— А кто их разберёт? Их живых-то не разбирали. Тихие, говорят, были — что один, что другая.

Тут не соврали.

— Замёрз, — повторил Юст в третий раз. Ему никто не возражал, и это его, кажется, беспокоило больше всего. — Ночью. Так говорят.

Замёрз. Конечно, в десяти шагах от корпуса.

Тевр молчал всерьёз: короб стоял у ног забытый, а хлеб он с утра носил на дальние столы просто так, без записи. Потом всё-таки открыл тетрадку, отыскал страницу и стал вычёркивать строчку — долго, старательно, в несколько черт, хотя строчка была короткая.

Айра не спросила. Тевр сказал сам, не поднимая головы:

— Свечи. Он третьего дня заказывал свечи, потемнее. Говорит, у сестры от светлых глаза устают, а она же читает по полночи... — Тевр закрыл тетрадку и посмотрел в стол. — И кому теперь эти свечи.

Ответа не было. Не водилось тут такого ответа.

Дайн. Дайн — в снегу.

Имя встало на место, как ключ в чужой замок: с усилием

и до конца.

— Кто-нибудь видел Кейру? — спросила Тай.

Никто не ответил.

Кейра нашлась после завтрака, в нижней галерее.

Живая. Это Айра увидела первым. Остальное пришло следом: Кейру вели в сторону лекарской — впереди стражник, за плечом — Виерна. Декан держалась на полшага сзади, как ходят не начальники, а провожатые, и у двери, не дожидаясь стражника, сама открыла перед Кейрой створку.

Кейра шла прямо, точно, глядя перед собой. Они с братом были близнецы, один человек в двух экземплярах, — и теперь этот человек шёл по галерее. Один.

Айра стояла у стены, пока они не прошли, и молчала со всеми вместе. Ей было что сказать — но некому: стража спросит «откуда знаете, адептка», и правильно сделает, что спросит.

Молчать она умела. Просто впервые за долгое время это умение было ей противно.

А занятий никто не отменял. Академия вообще, похоже, не умела отменяться: колокол бил своё, двери хлопали. Вполглаза, вполуха — а на посту. Вся в того ночного стража у жаровни.

* * *

Запись на пересдачи открыли в полдень, у дверей учебной

части, и очередь встала раньше записи: первый в ней стоял со вчерашнего вечера.

Тот самый, с одеялом. За ночь он оброс узелком, кружкой и почтением соседей и теперь выглядел так, будто жизнь удалась. Очередь за ним тянулась вдоль стены до поворота: сессия собирала свою дань со всех трёх факультетов, и в хвосте уже спали по очереди — двое спят у стены, третий держит места, потом сменяются. Уклад очередей был старый и сбоев не давал.

Подошёл кто-то с Клинка, спросил, за чем стоим. Ему сказали: на пересдачи. Он подумал, сказал «а» — и остался: из хорошей очереди не уходят, раз стоят — значит, дают.

Айра встала в хвост и приготовилась стоять долго. По ногам из-под дверей тянуло сквозняком, от чужих полушубков пахло мокрой шерстью, стена за спиной забирала тепло, как умеет только зимний камень. Стоять она умела — это тоже наука, уличная: не переминаясь, не вздыхать, дать глазам работу. Глаза работали сами. Через одного человека от неё, у стены, стоял парень — и что-то в нём было неправильное на тот особый лад, от которого у неё чесались лопатки.

Стоял он хорошо. Слишком хорошо. Никто не умеет так стоять в очереди — без скуки, без нетерпения, с тихим достоинством. Спешить ему было некуда — и чувствовалось, что давно. И одет он был не по сезону: в осеннее, лёгкое, без шапки. И иней на плечах у него не таял.

Впереди возникло движение: Ним. Она шла вдоль очере-

ди от дверей, и губы у неё шевелились. У хвоста она остановилась, закончила счёт и объявила — никому и всем, тоном итоговой описи:

— Нас тут четырнадцать. А стоит — пятнадцать.

Очередь зашевелилась и пересчиталась. Очередь была согласна на четырнадцать. Пятнадцатого начали искать глазами — и найти не могли, потому что глаза у людей устроены милосердно.

Ним нашла. Подошла к парню в осеннем и посмотрела на него снизу вверх, сурово, как ревизор на недостатчу.

— Вас тут не стояло.

Парень поглядел на неё без обиды.

— Я занимал, — сказал он тихо.

— Когда?

— Осенью.

Очередь притихла. Осенью запись была: её открыли, забрали и отменили в один день — инспекции стало не до зачётов. Списки сожгли или подшили — поди знай. Очередь тогда разошлась.

Вся, выходит, да не вся.

Стоялец. На экзаменах таких Отт разгонял узлом, как голубей с карниза, — но те воровали чужие места. Этот своё выстоял.

— Осенняя запись недействительна, — сказали от дверей.

Куратор Отт подошёл неспешно, с ведомостью под мышкой, и оглядел парня в осеннем без всякого удивления — как

оглядывают прохудившийся жёлоб: опять. Парень выдержал его взгляд с достоинством. Достоинства у него было с запасом.

— Запись новая, — сообщил Отт. — Осенняя очередь расформирована. Претензии не принимаются, вопросы, к слову, тоже.

Парень в осеннем подумал. Думал он основательно, как думают о главном.

— Тогда я за ней, — решил он наконец и кивнул на девицу с Архива в конце хвоста. И встал. В смысле — переместился: только что был у стены, а теперь стоял за девицей, и иней на плечах как лежал, так и лежал.

Девушка с Архива побледнела и очень вежливо сказала, что можно и перед ней.

Отт открыл ведомость, посмотрел в неё, подумал и ничего не записал. Есть вещи, которых казённая графа не предусматривает.

Вот у кого со смирением всё в порядке. Тай бы взяла у него пару уроков.

Шутка пришла и легла, как ложатся краденые вещи, — чужая. Носить её было некуда.

Дайн. В снегу.

Ним прошла обратно вдоль очереди, ни на кого не глядя, но по спине её было видно: она всех предупреждала. Всех. Всегда. Пересчитывать надо всё, и вот вам, пожалуйста.

Поравнявшись с Айрой, она всё же приостановилась.

— Видела? — Без торжества, с усталым удовлетворением: веру её наконец вознаградили. — Восемь заначек, говорили они. Смешно ей, говорили они.

— Никто не говорил «смешно», Ним.

— Все думали. — Ним поправила платок и пошла к дверям, бросив через плечо: — Мысли я тоже считаю.

Смеялись в очереди в тот день вполголоса: беда прошла не по ним, но прошла близко, и все это помнили. Однако смеялись. Живые вообще смешливые — этим и держатся, думала Айра, выводя свою фамилию в новой записи. Перо у писаря было привязано к конторке бечёвкой: от людей, у которых сессия.

Стоялец дождался своей записи со всеми. Писарь, не дрогнув, вывел в графе: «Занимал с осени». Порядок есть порядок.

Уходя, Айра оглянулась. Стоялец стоял за девицей с Архива — довольный: у него снова была очередь. Иней на плечах у него так и не таял, и очередь уже привыкла об этом не думать.

* * *

Ещё до вечера её нашла Тай — сама, без стука, с двумя пирожками и кружкой, от которой шёл пар.

— Ты со вчера смурная, — постановила она, выставя всё это на стол. — Не спрашиваю. Ешь.

— Я не...

— Ешь. Спрашивать буду, когда прожужьёшь. — Тай уселась рядом и привалилась плечом, горячим, как печной бок. — А может, и не буду. Захочешь — сама скажешь. Я умею ждать. Ну, почти умею. День продержусь. Может, два.

Пирожки были с пылу с жару, пахли ливером и луком, в кружке оказался сбитень. Айра ела и думала, что вот так — с этим плечом под боком — жить дальше уже можно. Даже в такие дни.

Особенно в такие.

— Оба съешь, — сказала Тай уже от двери. — Я по глазам вижу: один ты решила отложить на чёрный день. Так вот, у пирожков чёрных дней не бывает. Не доживают.

Дайн. В снегу.

* * *

В семь, как заведено, она была в приёмной.

Подоконник был пуст. Дисциплина куда-то делась, и без неё приёмная сделалась голая, как в первый день. Журнал лежал на своём месте, перо при нём, — а вот дверь кабинета была закрыта. Не приоткрыта на ладонь — закрыта совсем.

Айра вписала себя в графу «явка». Хвостик у росписи не вышел.

— Зайдите, — сказали из-за двери.

В кабинете горели все свечи разом — светло, слишком

светло, по-рабочему. Пахло воском и свежим сургучом. Ректор стоял у окна, спиной к тёмному стеклу, и на столе перед ним лежала одна-единственная бумага. Ни стопок, ни перьев в работе — один лист, уже дописанный.

Пауз не было. Вот что она отметила раньше всего, по привычке мерить чужие паузы: он заговорил сразу, без своей отмеренной секунды, — так читают по написанному.

— Адептка Сол. Соберите вещи. Вы переводитесь: архивная практика, Харентол. Бессрочно.

Секунду длилось честное недоумение — она успела подумать, что ослышалась, и понять, что не ослышалась, и что «бессрочно» в казённом языке значит именно то, что значит.

— Харентол — это что? — спросила она. Голос вышел спокойный. Она была им довольна.

— Северный филиал Архонтии. Архивное отделение. Три дня пути.

— Мои зачёты?

— Перезачтут.

— Резерв? Пункт сорок третий?

— Снимается переводом.

— Практикумы? Декан Виерна...

— Декан поставлена в известность.

Ответы падали, как печати: коротко, сверху вниз, в положенное место. Она поискала в его лице хоть что-нибудь — заготовленную паузу, сухую колкость, всё, к чему привыкла за эти месяцы, — и не нашла. Лицо было закрыто, как эта

дверь: совсем, без ладони.

— Когда? — спросила она.

— Подвода послезавтра, в шесть утра. Предписание получите завтра в канцелярии. — Он тронул лист и выровнял его по краю столешницы, хотя выравнивать там было нечего. — Это всё, адептка Сол.

Соберите вещи.

Вчера за ужином Верен называл цену: девятнадцать человек за пять лет, и ни одного письма после. Все они, надо думать, тоже собирали вещи. Вещи потом год лежали в кладовой.

Она кивнула — пресно, по всей форме, не дешевле и не дороже — и двинулась к выходу. У порога на вдох замедлилась: по вчерашней ещё привычке ждать, что в спину догонит «адептка».

Не догнало.

Она вышла, тихо прикрыв за собой дверь. Как учили: уходя, не хлопай — хлопок запоминают.

В приёмной было пусто, на подоконнике лежал холодный прямоугольник лунного света.

— Явка засчитана, — сообщила Айра пустой приёмной. Тем самым тоном, каким ей вчера желали спокойной ночи. Никто не возразил. Никто и не пересчитал её на выходе.

Глава 7. Харентол

Предписание ей выдали утром, под расписку. В этом ведомстве держали слово: если здесь обещали неприятность, неприятность приходила день в день, без опозданий. Опаздывало тут только хорошее — и то, подозревала Айра, не само: его придерживали на входе.

Писарь в канцелярии был немолодой, с жёлтыми от сургуча пальцами, и читал вслух всё, что выдавал, — привычка человека, которого слишком часто переспрашивали.

— Сол. Архивная практика. Харентол, — прочитал он и подвинул ей лист. — Распишитесь в получении.

Айра расписалась. Хвостик вышел отлично — назло.

Харентол. Она попробовала слово на зуб, как монету. Звона не было. А она привыкла, что имена звенят: у каждой улицы, у каждой лавки, у каждой тюрьмы её города имя имело голос — ласковый, сальный, глухой, какой угодно. Это молчало. Имя как рукавица, потерянная в снегу.

— А где это? — спросила она. Просто так. Вдруг.

Писарь заглянул в журнал, будто там могла найтись приписка на такой случай. Приписки не нашлось.

— На севере отсюда, несколько дней пути. — Он подумал и добавил, понизив голос, как добавляют от себя: — Почту туда возят раз в месяц. Летом.

Раз в месяц. Летом. Щедро.

Она сложила предписание вдвое и убрала за пазуху — туда, где ещё на днях лежали бумаги поприятнее. Подвода, если верить написанному, уходила завтра в шесть. По её науке против печати не спорят: печать — стена, а под стену копают. Она поднялась по лестнице копать.

Ну, или хлопнуть дверью так, чтобы петли отлетели в лоб какому-нибудь ректору. По обстоятельствам.

* * *

Подоконник в приёмной был снова занят: Дисциплина спала, свернувшись, спиной ко всему ведомству разом. Хоть что-то в этом крыле вернулось на место.

Дверь кабинета была закрыта, как вчера, — совсем, без ладони. Айра постучала и вошла, не дожидаясь ответа: в конце концов, ссыльным положены поблажки.

— Адептка Сол. — Ректор поднял голову от бумаг. Пауза перед словом снова была при нём — отмеренная, как всегда. За ночь вернулась. — Предписание получают в канцелярии.

— Получила. — Она положила лист на стол, перед ним. — Пришла вернуть. Не подошло.

— Это так не работает.

— Тогда объясните, как это работает. — Она держала голос низко, по-деловому: кричат, плюются и кидаются с кулаками проигравшие. — «Архивная практика» для первокурсницы. Бессрочная. Я искала такой пункт в уставе — у вас,

к слову, скучная библиотека — и не нашла. Его нет. Это не практика. Это ссылка с вежливым именем.

— Это перевод.

— Посреди сессии.

— Сессию вам перезачтут.

— Мне не надо «перезачтут». Я сдам сама. — Она наклонилась и упёрлась ладонями в край его стола. — Я не дело, чтобы сдавать меня в архив.

Он закрыл чернильницу. Аккуратно, до щелчка — как закрывают разговор.

— Подвода завтра в шесть, адептка Сол.

— Вы не смеете.

— Смею. Подпись моя.

Сказано было без нажима, буднично — как сообщают погоду. И вот это оказалось хуже всего: с ним нельзя было даже поругаться. Стены не ругаются. Стены стоят.

Дверь открылась без стука.

Декан Виерна вошла, как входила в собственный практикум: не быстро и не медленно, а так, что всем сразу делалось ясно — теперь порядок вещей здесь она. Под локтем у неё была ведомость, и несла она её не как бумагу, а как инструмент.

— Ректор. — Кивок. — Адептка. — Второй кивок, короче на треть.

— Декан Виерна. — Пауза. — Я занят.

— Вижу. — Виерна положила свою ведомость поверх его

бумаг, небрежно, краем на край — у него дёрнулась бровь: в его хозяйстве бумаги так не лежали. — Мне переслали приказ о переводе первокурсницы Сол. Учебная часть обязана его заверить.

— Обязана, — согласился ректор.

— Не заверит. — Виерна выпрямилась. — Перевод первокурсницы посреди сессии — четыре подписи, ректор. Моей не будет. Пересдача — в четверг.

Стало тихо. Айра стояла очень смиренно, как стоят у чужой драки, когда бьют в твою пользу: не дыши, не сглазь.

Ректор смотрел на декана. Пауза тянулась дольше отмеренной — впервые на её памяти он полез за словом и не нашёл его на привычной полке. Полка, судя по лицу, была пуста вся.

— Устав допускает перевод волей ректора, — сказал он наконец.

— Допускает, — не стала спорить Виерна. — По завершении текущих аттестаций. Раздел шестой.

Я начинаю чувствовать себя куском мяса, за который сцепились двое волков. И один устав. Надеюсь, устав победит.

Ректор перевёл взгляд с декана на неё. Что он там увидел, по лицу было не прочесть: лицо было закрытое, вчерашнее. Потом он взял её предписание и положил влево — туда, где у него, насколько она успела изучить этот стол, лежало отложенное, но не отменённое.

— До конца сессии. По её завершении перевод вступает в силу. Это всё, декан.

— Это всё, — согласилась Виерна и забрала свою ведомость.

Он согласился слишком быстро. Мысль была неудобная, как камешек в сапоге: человек, который вчера подписывал «бессрочно» голосом казённой печати, сегодня отдал три недели за одну реплику про четыре подписи. Так не торгуются. Так делают вид, что торгуются. Айра не знала, куда положить эту мысль, и положила туда, где у неё копилось всё непонятное про ректора. Полка прогибалась.

— Пункт сорок третий остаётся в силе, — добавил он ей вслед, не поднимая головы. — В семь. Ежедневно.

Ну разумеется. Бессмертный пункт. Меня можно сослать хоть за край света — пункт сорок третий поедет следом и потребует явку.

В коридоре Виерна не замедлила шага, и Айра догнала её сама.

— Декан. Я...

— В четверг, адептка. — Виерна не обернулась. — Подготовьтесь прилично.

Прилично. По её шкале — почти объятие.

У поворота декан всё же приостановилась. Посмотрела не на Айру — сквозь, тем самым взглядом, которым на практиках снимала с иллюзий всё лишнее.

— Три недели — это много. Если не тратить их на разго-

воры в коридорах.

И ушла, унося ведомость, как уносят оружие после смотра.

Три недели. На улице за три недели она успевала прожить три жизни, и две из них — неплохо. Теперь надо было уложиться в одну: найти того, кто водит людей по снегу. Раньше, чем подвода на север вспомнит про неё.

* * *

День она дожила как положено: лекции, миска в столовой, с семи до восьми — приёмная, пункт сорок третий получил своё. Академия гудела сессией — очередь у учебной части за ночь пустила корни и обзавелась собственным укладом: чайник, устав, эстафетный сон. Пересчитывались через одного, не сговариваясь. Наука Ним прижилась быстрее любой лекции. Сама Ним за день прошла вдоль хвоста дважды, без всякого дела: принимала парад.

А вечером, когда архив закрылся для честных людей, в нём остались нечестные.

Про мастерскую не заговорил даже Серак. Старую точку ещё осенью читали, а к зиме про их сборы за верстаком знала половина академии — на новое дело со старого адреса не ходят. Архив подходил лучше: вечером он пуст, а у Верена — законное право сидеть в нём хоть до утра.

Ниша за дальними стеллажами была вотчиной Верена:

стол, лампа под зелёным колпаком, две скамьи, забытая кружка и стопки описей, разложенные в порядке, понятном одному человеку в мире. Пахло старой бумагой, пылью и чуть-чуть — солью: Верен носил этот запах с собой, как другие носят табачный. Лампа под колпаком горела вполсилы. зачарование в ней было старше Верена втрое, и он его берёг. Для тайного собрания место годилось идеально — сюда и днём-то не заходил никто, кроме хозяина.

Тай пришла с горстью орехов и хозяйственно уселась на скамью, к Айре вплотную: сидеть иначе она не умела. Орехи она щёлкала пальцами, без щипцов: сжимала — и скорлупа сдавалась сама, с лёгким смиренным хрустом. Серак сел на край, достал из кармана тряпицу и мелкую бронзовую деталь и стал полировать — не потому, что деталь просила, а потому, что пустых рук он не выносил. Верен сначала подвинул гостям чернильницу, потом передумал и убрал, потом уронил перо, поймал его коленом и объявил, что всё готово.

— Итак. — Он поправил очки. — Собрание. У нас никогда не было собрания. У меня в архиве вообще никогда никого не было. Это лучший день зимы, и я уже боюсь того, что вы скажете.

— Правильно боишься. — Айра достала из кармана уголёк и подтянула к себе серый лист — обёрточный, из тех, на которых архив пробует перья. — Начнём с простого. Тай. Что столовая?

— Ставит три к одному на «замёрз». — Тай щёлкнула

орех. — Ни раны, говорят, ни крови. Лицо спокойное — лежал, будто спит. Ещё поминают белые деревья и какой-то спор. Спорщика, правда, за два дня так и не нашли.

— Пересказывает столовая честно. — Айра повела угольком по листу: шаг, шаг, шаг, наискось. — Я стояла в тени, когда его нашли. Навзничь, прямо, руки вдоль — это я видела сама, до всяких «говорят». Совпадает. Не совпадает одно: замерзают не так. Замерзают некрасиво — человек сворачивается, лезет в собственный воротник, гребёт под себя снег: тело до последнего торгуется за тепло. А Дайн лёг, как в постель. Не мороз.

— А что тогда? — Верен уже писал. Он не умел слушать без пера: сказанное, не попавшее на бумагу, причиняло ему физическое неудобство.

— Не знаю. Первый раз за много лет говорю про мертвеца «не знаю». — Она постучала углём по началу цепочки. — Зато знаю, как он к той стене пришёл. Ночью я ходила читать следы, пока их не затоптали.

— Одна, — сказала Тай. Прозвучало как диагноз.

— Со мной был весь мой опыт.

— Он тебя хоть кормит?

— Реже, чем ты. — Айра накрыла лист ладонью. — Его увели мороком: он шёл ночью к глухой стене, как днём за знакомым, — ни сбоя, ни оглядки. А потом кто-то ушёл его же следами, задом наперёд. Для стражи там одна цепочка. Для меня — две.

Скорлупа у Тай хрустнула громче обычного.

— Откуда вы умеете это читать? — Верен спросил без недоверия — с жадностью.

— Улица. Следы — грамота, которой учат раньше букв. — Она положила уголёк. — Без этого долго не проживёшь.

Тай молча вложила ей в ладонь очищенный орех.

Лампа потрескивала. Верен перестал писать. Тай держала недощёлкнутый орех в кулаке и не замечала этого.

— Есть вещи, которые так умеют.

Серак не поднял головы от своей детали. Голос у него был будничным — о своём деле он всегда говорил буднично, — и от этого сделалось только хуже.

— Ты сказала: ни сбоя, ни оглядки. До самой стены. — Деталь в его пальцах остановилась. — Живой морок так не держат. Живая вязь всегда от руки: где узел туже, где нить повело — рука дышит, ведомый спотыкается. Гладко всю дорогу не выходит даже у мастеров. Я перематывал, знаю. Так вяжут один раз, зашивают в вещь — и дальше она работает сама. Артефакт.

— А ты-то откуда знаешь? — спросила Тай.

Серак долго складывал тряпицу. Тщательнее, чем требовала тряпица.

— Чинил всякое.

Это не было ответом, и все это поняли, и никто не стал копать. У каждого за столом лежало своё «чинил всякое».

— Какой артефакт так умеет — не знаю, — договорил Се-

рак, глядя в деталь. — Не встречал. И не слышал. А слышал я много.

О прорехе, которую она видела на том месте, Айра промолчала. Такое не выкладывают даже на самый честный стол.

— Если он существует — он числится. — Верен уже не писал: он смотрел поверх очков в тёмные полки, как смотрят в собственную память. — Артефакты не растут в лесу: их делают, возят, хранят — и всюду при этом пишут. Наверху есть второй каталог артефактов — рабочий, не парадный: компоновка такая, что добровольно в него лезу только я. Начну с него. Если эта вещь хоть раз проходила через академию — след остался.

— А если не проходила? — спросила Тай.

— Тогда буду искать везде. — Верен поправил очки. Спрятать радость у него не вышло. — Читать придётся всё.

— Только не радуйся так вслух, — попросила Тай. — Человек умер.

— Я не радуюсь. — Верен уже подтягивал к себе чистый лист. — Я готовлюсь.

Айра взяла со стола свой серый лист с цепочкой следов и сложила его вчетверо. Пора было говорить главное. Она помедлила — и сказала.

— Стража запишет «замёрз». Дело закроют. — Она накрыла ладонью сложенный лист. — А Дайн был из наших. Из Теней. — Это она сказала Сераку. — Нельзя это так остав-

лять.

Серак отложил деталь и тряпицу — впервые за вечер его руки остались пустыми.

— Поэтому я здесь.

— Теперь про сроки, чтобы никто не строил долгих планов. Меня переводят: архивная практика, Харентол, несколько дней пути на север, бессрочно. Виерна выбила отсрочку до конца сессии — три недели. — Она обвела их взглядом: Тай с окаменевшим кулаком, Верена, у которого рот уже открылся для тысячи вопросов, Серака, который не удивился вовсе. — И вот что. Дайна убили ночью — а назавтра уже подписали мой перевод. Единственная в этих стенах, кто умеет читать снег, поедет туда, откуда почту возят раз в месяц. Летом. Может, совпадение. Я в совпадения не верю: они мне ни разу не платили.

— Думаешь, ректор?.. — Верен оборвал сам себя и оглянулся на тёмные стеллажи, будто у полок были уши.

— Думаю, что не знаю. Знаю другое: пока я тут, у нас есть три недели.

— Значит, раскрываем сами, — сказала Тай. Просто, как расписание на завтра.

— Раскрываем сами. Быстрее, чем меня сошлют. — Айра убрала сложенный лист в карман. — И другой компании у меня всё равно нет.

— Это было почти трогательно, — заметила Тай. — Продолжай в том же духе, и через три недели я, может быть,

всплакну.

— Не дождёшься. Верен — ведомости допусков: кто в этих стенах вяжет морок высшего разряда. Вещь вещью, а вязал её кто-то живой. Не имена вслух — просто выпиши.

— По спискам — человек пять. — Верен уже прикидывал, глядя в потолок. — Завтра скажу точно. — Он покосился на свой чистый лист. — А вот с каталогами беда. Каталог отвечает тому, кто пришёл с вопросом, а вопроса у нас нет: я не знаю, что эта вещь делает. «Убивает без раны» — мы можем половину каталога в это сразу записать. И сколько ещё раскидано по академии неучтённого — не знает даже архив. Мне нужно знать, что стало с телом.

— Тело в лекарской, — сказала Тай. — До похорон.

— Значит, сначала — тело. Каталоги подождут вопроса. — Айра обвела штаб взглядом. — Лекарская — моя забота.

— Наша, — поправила Тай. Тонем, которым закрывают торг.

— Серак — с Вереном, когда появится вопрос. Тай...

— Хожу рядом с тобой и делаю страшное лицо.

— ...это и планировалось. И столовую слушаешь дальше. Ты единственная из нас, кому люди сами всё рассказывают.

— Потому что я умею слушать. — Тай ссыпала скорлупу в карман и отряхнула ладони. — Ну и лицо, да.

— И последнее. — Айра дождалась, пока все посмотрят на неё. — Об этом собрании — никому. Ни старостам, ни кураторам, ни страже. Никому — это значит совсем никому.

— А... — начал Верен.

— Ректору в первую очередь!

Верен кивнул. Потом кивнул ещё раз, отдельно, для надёжности, — и на всякий случай отхлебнул из кружки. Кружка была пустая, но помогала молчать.

Расходились поодиночке, с выдержкой, — это она поставила условием, и никто не спросил зачем. Айра выходила последней. У стеллажа она обернулась: Верен уже сидел над описями, придвинув лампу, и губы у него шевелились — он разговаривал с бумагой, как другие разговаривают с лошадью, уговаривая её идти.

Четверо. Против того, кто водит людей на смерть, как на прогулку.

Бывало и хуже.

Вспомнить, когда именно, она так и не смогла.

* * *

До своей комнаты она добралась за полночь.

Кот сидел на кровати. Весь: туша, драное ухо, хвост кольцом. Последние дни он существовал частями — лапа из-под кровати, хруст, осуждение из угла, — а тут явился в полном составе, как памятник самому себе, и смотрел на дверь. Не на неё — на дверь у неё за спиной.

— О, — сказала Айра. — Целиком. Соскучился или случилось что?

Кот не ответил. Отвечал он, по её сведениям, раз в жизни — и свой раз уже потратил.

Она села на пол у стены, не зажигая свечи. Камень она проверяла теперь каждый вечер — привычка новая, трёхдневная, а легла поверх старых, будто всегда тут была. Пальцы нашли знакомый шов кладки. Камень вышел без звука, своим, послушным.

В тайнике лежала тряпица со всем её невеликим имуществом. А поверх тряпицы — бумага.

Свежая.

Свечу она не тронула и после этого. Поднесла листок к окну, к синему лунному свету, — и прочла. Читать там было недолго.

«Он здесь. Я тоже.»

Четыре слова. Почерк она узнала бы из тысячи — тесный, буквы плечом к плечу, как очередь, которая никуда не идёт. Тем же почерком ей уже писали: «Он здесь». Осенью. Потом — «Не ищи». Теперь вот это.

«Он». Без имени — как всегда без имени. У неё набирался целый список тех, кто мог оказаться этим «он», и не было в списке ни одного, кем хотелось бы.

«Я тоже».

Айра перечитала записку ещё раз, медленно, хотя перечитывать там было нечего. Дверь она запирала на собственный замок — её замки держали слово. Щеколду на окне никто не трогал. Она всё-таки поднялась и посмотрела вниз: снег под

окном лежал гладкий, синий, без единой отметины.

Тот, кто принёс записку, ходил не по снегу.

Она оглянулась на Кота. Кот смотрел на дверь.

Она завернула листок в тряпицу, к остальным, и вернула камень на место. Камень вошёл без звука — этот, по крайней мере, был на её стороне.

Потом легла, не раздеваясь, лицом к двери — как ложилась когда-то в чужих ночлежках, где стены слушают. Кот перетёк ближе и улёгся поперёк её ног — всей тушей, основательно, на всю ночь.

Он здесь. Я тоже.

Из этих двоих ей меньше нравился второй.

Глава 8. Прибытия

Записке в тайнике было всё равно, что у Айры письменный по истории.

Она это проверила: с утра, умываясь ледяной водой, честно спросила себя, что изменилось за ночь. Выходило — ничего. «Он здесь» — но он был здесь и вчера, судя по почерку, которому она верила больше, чем себе. «Я тоже» — но и это была не новость, а подпись под старой. Мир не рухнул. Мир даже завтрака не отменил.

Так что жизнь пошла дальше, и назавтра в девять она сидела в большой аудитории, между Юстом и чьим-то чужим локтем, и выводила на казённом листе всё, что помнила о Третьем переделе. Лист и перо Тени выдали у дверей — и у дверей же отберут: записывать Тени нельзя, а отчитаться изволь. Академия противоречия здесь не видела. Айра, подумав, тоже: на её прежней работе это называлось «сработал — не оставь следов», и с этой стороны родной факультет нравился ей всё больше.

Помнила она прилично. У Тени всё носят в голове — шестёрке это далось наукой, ей досталось даром: адреса, лица, входы-выходы и кто кому сколько должен она держала в памяти с тех пор, как научилась считать. Бумаге такое не доверяют.

Лектор Эйн дремал за кафедрой — открыто: подбородок

в воротник, руки на животе. Раз в четверть часа он поднимал голову, обводил аудиторию мягким взглядом — все ли на месте, никто ли не умер от скуки — и дремал дальше. Списывать при нём было бы проще простого, если бы кто-нибудь понимал у него предмет настолько, чтобы знать, откуда списывать.

Юст сдал лист первым. Вернулся, сел и до конца часа просидел с видом человека, который знает о Третьем переделе больше, чем Айра. Намного больше.

— Заметила? — спросил он шёпотом, когда вышли. — Про полный устав — ни одного вопроса. Ни од-но-го.

— Может, его и нет, полного устава?

— Вот! — Юст поднял палец. — И в билетах его нет. Всё сходится.

Спорить с этим было бесполезно, и Айра не стала. У неё со сходимостью дела обстояли хуже: у неё сходилось всё, кроме главного.

* * *

Верен нашёл её после полудня в нижней галерее — вернее, случился с ней: вышел из-за угла со стопкой книг, увидел, споткнулся на ровном месте, поймал верхнюю книгу подбородком и таким образом остановился.

— Я вас искал, — сообщил он, прижимая подбородком спасённую книгу. — Это выглядело незаметнее в моей голо-

ве.

— Не сомневаюсь.

Они отошли к окну — к самому холодному, у которого никто не задерживался. Верен выпростал из-под книг руку и передал ей листок, сложенный вчетверо, потом ещё раз пополам — для надёжности, как заворачивают не бумагу, а слово.

— Пять, — шепнул он. — Тех, кто вяжет морок высшего разряда, — пять. Я перепроверил дважды, потому и не вчера. Вы сказали: не имена вслух. Я не вслух — я списком.

Листок ушёл ей в манжету, к лезвию. Хорошее соседство.

Пятеро вязальщиков — при вещи, которой вязальщик не нужен. Подешевел список, не успев родиться. А носить буду: вещь сама по двору не ходит. Её кто-то приносит, ставит и уходит след-в-след — и я хочу знать, у кого из пятерых такая походка.

— И ещё. — Верен поправил очки и посмотрел ей за плечо, что у него означало высшую степень сосредоточенности. — Вы ведь идёте сегодня. Туда. К нему.

— Когда я иду, я не говорила.

— Не говорили, — с готовностью согласился он. — Но через архив прошёл запрос: тело выдают семье, со дня на день. Потом смотреть будет не на что. Значит — сегодня. Так вот. Если получится... — Он замялся, поискал слово поточнее и нашёл: — Мне нужна его одежда. Что-нибудь, в чём он был той ночью. Не вся — лоскут, край, шов. Любой кусок ткани,

который был на нём.

— Зачем?

— Ткань помнит. — Верен сказал это буднично, как говорят о свойствах воды. — Всё, что сделано чарами рядом с вещью, оставляет в ней след — слабый, стёртый, но след. Прочесть его — работа Архива, самая наша: верификация. Меня к ней уже допускают. Ну, к простой. Ну, допускали один раз. — Он честно понижал план, пока тот не совпал с правдой. — Но читать я умею, это правда. Медленно. Мне понадобятся дни.

— А по телу твоя верификация читать не умеет?

— По телу — нет. — Он покачал головой с сожалением учёного, а не человека. — Тело — не вещь, у него всё своё... Вещь проще. Вещь честнее. Дайте мне ткань — и я вам скажу, что её касалось.

Айра посмотрела на него: тощий, в очках, со стопкой книг до подбородка. Из всех людей, которых она знала, только этот умел говорить «дайте мне ткань» с интонацией «дайте мне войско».

— Будет тебе ткань.

— Спасибо. — Он просиял, тут же согнал с лица лишнее и добавил, глядя в сторону: — Я бы пошёл с вами. Ночью. Туда.

— Нет.

— Я быстро согласился, заметили? — Верен перехватил стопку поудобнее. — Я работаю над храбростью. По плану к

весне должно проявиться.

* * *

Лекарская на ночь запиралась — это Айра выяснила ещё днём, между делом, проходя мимо по совершенно постороннему и абсолютно выдуманному поводу. Замок был казённый, новый, повешенный этой зимой: снаружи скучный, изнутри простой. Скучные замки ей нравились: с ними всегда можно договориться.

Пошли за полночь, когда крыло отзвучало последними дверями. Тай двигалась тихо — для человека её огня даже слишком тихо — и молчала до самого поворота к лекарской. У поворота не выдержала:

— План такой. Ты открываешь, я стою тут и делаю вид, что я стена.

— Из тебя плохая стена. Стены холодные.

— Я буду очень честная стена. Только что протопленная.

Замок сдался со второго захода — мягко, без щелчка: щелчок она придержала пальцем, как придерживают дверь за спиной гостя. В лекарской стояла темнота, разбавленная снегом из окон, и пахло сразу всем, чем положено: сушёной травой, щёлоком, воском — и, тонко, поверх всего, новым порядком. Всё стояло по местам так, что места было жалко.

На конторке у входа лежал журнал — толстый, с закладками, с обвязанным бечёвкой пером. Айра наклонила рас-

крытую страницу к свету из окна: графы, графы, и в графы убористым почерком внесено всё, включая, кажется, погоду. Новая кастелянша не завела порядок — она его насадила.

Уважаю. Против такого журнала я бы в этой академии не пошла. Хотя, если подумать, я же прямо сейчас вломилась в лекарскую посреди ночи...

Тай осталась у входа — стеной, честной и протопленной. Айра прошла коридором мимо тёмных палат — пустых, с заправленными койками, — до последней двери.

За последней дверью лекарская кончалась и начинался холл. Даже не начинался — стоял: погребной, устоявшийся, без сквозняка, холод места, которое топить не положено. Узкая комната с каменным полом, лавка вдоль стены, на лавке — длинное, укрытое небелёным полотном. У стены — полка, на полке свёрток с биркой.

Айра постояла у двери столько, сколько нужно, чтобы дыхание согласилось идти тише.

Мертвецов она видела. Больше, чем полагается девице её лет, и ближе, чем хотелось бы. Мертвецы были частью улицы, как лёд и стража, и она давно выучила про них главное: мёртвый не сделает ничего. Всё уже сделали до него.

Она отвернула полотно — от лица, по грудь.

Дайн лежал спокойно. Слухи не соврали: лицо без гримасы, разглаженное, — лицо человека, который лёг и уснул. Только это было не лицо спящего. У спящих под кожей идёт работа — мелкая, живая, никогда не останавливающаяся це-

ликом. Тут работа кончилась вся.

Айра стала смотреть. Это она умела лучше всего остального — смотреть и не придумывать.

Обморожений не было. Ни на скулах, ни на ушах, ни на пальцах — а мороз в ту ночь стоял злой и на живом теле расписался бы обязательно: она видела замёрзших, у них зима всегда оставляет свои отметины, белые и багровые. Здесь кожа была чистая. Мороз его не тронул. Мороз пришёл потом, к готовому.

Руки лежали вдоль тела. Она наклонилась к запястью — близко, как лекарь. Под кожей, там, где у живого и даже у мёртвого лежат жилы, набухшие или спавшиеся, но всегда — лежат, было пусто. Русла без воды, сухие дорожки. Кожа обтягивала кость так, как не обтягивает и у голодавших: голод сушит долго, месяцами. Этого высушило враз.

И лицо. Теперь она видела то, что не увидел лекарь, потому что лекарь смотрел один раз, а она сверяла. Четыре дня назад, у стены, в свете фонарей, лицо было полнее. Она помнила его — покойнически спокойное, но живое ещё по очертанию, лицо парня, которого путали с сестрой. Теперь скулы стояли острее, виски запали, и полотно над грудью лежало ниже, чем положено лежать полотну над грудной клеткой.

Холод хранит. На льду мясо лежит неделями, и ничего ему не делается, — это знает любая рыночная торговка.

Мороз хранит. Но не здесь. Не его.

Айра стояла над телом и слушала, как где-то в глубине

её, за всеми замками, скребётся то, чему она не давала имени. Не страх. Страх она знала в лицо и по имени. Это было другое: тихое, брезгливое несогласие всего живого с тем, что оно видит.

Что бы ты ни было. Ты не просто убило его. Ты его допиваешь.

Она накрыла лицо полотном — как было, до складки.

— Найдём, — сказала она мёртвому. Тихо, без выражения — как дают слово там, где расписок не берут. На улице мёртвым не обещают: мёртвому всё равно, а слово тратится. Это правило она нарушила впервые — и торговаться с собой не стала.

Свёрток на полке был увязан по-хозяйски, бирка подписана тем же убористым почерком: «Ир Д., верхнее, при поступлении». Айра развязала узел, не тронув бантика-петли: такие узлы вяжут, чтобы видеть, развязывал ли чужой. Куртка лежала сверху, сложенная в четыре, ещё ломкая от того мороза. Она отвернула полу, нашла внутренний шов у подкладки и лезвием сняла лоскут — с ладонь, из глубины, откуда не хватит даже самый дотошный журнал.

Лоскут лёг за пазуху. Узел лёг обратно бантиком-петлёй, волосок к волоску.

У выхода Тай встретила её взглядом — жёлтым, горячим даже в темноте — и ничего не спросила. Только когда замок мягко съел свой щелчок и коридор лёг за спиной, она придвинулась плечом, вплотную, и так они прошли до самой

лестницы: одно плечо на двоих.

— Холодно там, — сказала Тай наконец. Не спросила — сказала.

— Там положено.

— Я знаю, что положено. — Тай помолчала. — Я бы там всё растопила. Не потому что надо. Просто чтобы не так.

Вот за это — за «просто чтобы не так» — Айра и держалась за неё, как держатся за канат над пропастью.

* * *

Сани она слышала со двора — по чужим голосам раньше, чем по полозьям.

Утро стояло ясное, звонкое, из тех, когда мороз работает на публику: дым столбами, снег блестит, всё нарядное. К такому утру полагалось событие, и событие прибыло — в ворота, под тонкий визг полозьев, входил целый экипаж из трёх возков, и передний был крытый, тёмного лака, с гербом на дверце.

Крытые сани из самой столицы — те самые, о которых спорили возчики у Павы: ревизор едет или покойник. В прежней жизни она бы поставила на покойника. Теперь у неё были сведения получше, и сведения говорили: бывает — оба, и это ещё не худший расклад.

Двор набирался народом сам собой — по-зимнему: все шли по своим делам, и у всех дела внезапно оказывались че-

рез двор. Даже необъятное туловище Кота пару раз мелькнуло в толпе. Смотрел двор по-разному. Первокурсники — как на ярмарку: столица, гербы, лак. Старшие смотрели молча, и лица у них были из осени: они уже видели, как в эти ворота нарядно въезжает Совет, — и помнили, что нарядно он только въезжает.

— Тот же, что ли? — вполголоса спросили в толпе. — Осенний?

— Другой. Осенний был с ладаном.

— А этот с чем?

— Вот и я думаю.

Айра пристроилась у колонны галереи, среди прочих внезапно-деловых. Рядом обнаружилась Ним — с ложкой, торчащей из-за пояса, как кинжал.

— Шестеро и писарь, — сказала Ним вместо приветствия.

— Запомни: их приехало шестеро и писарь.

— Зачем мне это помнить?

— Пока не знаю. — Ним не отрывала глаз от возков, и губы её шевелились: счёт шёл дальше. — Но если их вдруг станет семеро, заметить это должна не только я.

У ворот тем временем гремело. Стихоплёт работал: камень в нише скрипел на поворотах, и над двором, поверх скрипа упряжи, катилось торжественное:

— Сошёл столичный гость на снежные пороги,
за ним — возки, мороз и все его тревоги.

Да будут милостивы зимние дороги.

Особенно — обратные дороги.

— Он ему только что «уезжайте поскорее» сказал? — вполголоса спросили из-за плеча Айры.

— Стихами, — уточнили рядом. — Стихами можно.

Из переднего возка, на середине строфы, вышел человек — молодой, светловолосый, без шапки, в дорожном тёмном сукне, которое стоило больше, чем весь этот двор зарабатывал в год (правда никто из них не зарабатывал нисколько, они же тут учатся, так что достижение так себе). Вышел — и достоял строфу, не двигаясь: приезжие выучивали это правило с первой строки, по лицам встречающих. А когда камень умолк, наклонил голову. Стражу. Вежливо, как равному.

Ректор встречал у крыльца — прямой, без лишней свиты, в чёрном. Айра видела его со своей колонны влоботорота и по развороту плеч читала то, что читала всегда: всё отмеренно. Слова короткие, пауза уставная. Для чужих у него всё было по уставу.

Приезжий что-то сказал, ректор что-то ответил, и оба двинулись к крыльцу — шагом людей, каждый из которых умеет ждать дольше собеседника.

А в ворота уже входил второй экипаж.

Этот был длиннее: четыре возка и пятый багажный, с сундуками, увязанными по-дорожному, в кожу. Обоз дома, который переезжает с удобствами и без спешки, потому что спешат к дому Кер, а не дом Кер.

Стихоплёт набрал полную грудь — камня:
— Сошла к вратам краса, что зимняя заря, светла:
при ней и лёд ясней, и мгла — не мгла.

Зима сама такую бы сочла
родней — и в гости первой позвала.

Из головного возка, точно на слове «краса», вышла дама
— так, будто выход подгоняли под строфу, как ключ под замок.
Постояла, слушая, со вниманием человека, которому
читает стихи не первый в жизни памятник.

Камень поскрипел, перевёл дух и выдал вторую строфу —
судя по интонации, от себя:

— Скажу как камень, что века стоит:
сия краса — не роза, а гранит.

Ни трещины: сама себя хранит.

Такой не надобен ни замок, ни щит.

По двору прошёл смешок — короткий, тут же съеденный:
над одами стража смеялись вслух только те, кто не знал, чем
это кончается. «Не роза, а гранит» повисло над парадным
снегом, как повисает оброненное слово, — все слышали, ни-
кто не поднимет.

*Гранит. Скажи такое камень про меня — я бы дулась до
весны. Эта даже бровью не повела. Выучка.*

Айра оценила её так, как оценивала всё, — по-своему,
снизу вверх. Сапожки не по снегу, но по снегу она и шага не
сделает. мех живой — не то что у Графини. Движение, ка-
ким она подала руку слуге, было отработано до той степени,

когда отработанность становится природой. Медные волосы, светлые глаза. Красивая — без скидок, без «по-своему», без всего, чем утешаются.

Мысль пришла без спроса, короткая и глупая, и Айра её прибрала — как прибирают чужой кошелёк: быстро, без свидетелей и не разбираясь, что внутри.

Ректор сошёл с крыльца — на две ступени, ей навстречу. Протокол Айра не знала, но шаги считать умела: две ступени были выверены так же, как его паузы.

— Кузен.

Голос у неё был тёплый в точности настолько, насколько положено голосу на морозе.

— Кузина, — ответил ректор.

И всё. Дальше пошли слова, которых Айра не слышала, и поклоны, которых она не считала. Она смотрела на этих двоих — высоких, нарядных, стоящих друг против друга на парадном снегу, — и думала, что со стороны они смотрятся так, как смотрится выкладка в дорогой лавке: всё сочетается, всё одного мастера, и цена не написана, потому что кто спрашивает — тому не по карману.

Она отлепилась от колонны и пошла по своим делам. Дел у неё было много. Например, срочно проверить, не нужно ли ей что-нибудь в противоположной стороне.

В галерее её догнали.

— Адептка Сол, если не ошибаюсь.

Ошибаться он не мог: судя по голосу, этот человек ошибался только по предварительной записи. Айра обернулась с лицом, заготовленным для начальства, — пресным, почти-тельным, в самый раз.

Светловолосый стоял в трёх шагах — расстояние, выбранное со вкусом: и не навис, и через галерею кричать не придётся. Вблизи он оказался моложе, чем от ворот, и глаза у него были зелёные, внимательные и очень приветливые. Так приветливо смотрят на человека, о котором уже прочитано всё, что пишут.

— Никандр Валь-Т, куратор Совета. — Он чуть наклонил голову. — Впрочем, «куратор» — это для документов. Вне процедур — просто Никандр.

— Адептка Сол. Во всех случаях.

— Экономно. — Он улыбнулся — легко, без усилия: умел. — Я задержу вас на минуту, адептка. Я разбирал осенние бумаги — дорога длинная, бумаг много. Ваше имя попадаете в них чаще, чем положено имени первокурсницы.

— Что я могу сказать? Учёба — моя страсть.

— Не сомневаюсь. — Улыбка стала на волос теплее. — «Перегрузка учебного артефакта» на турнире. Я читал акт.

Красивый почерк у вашего ректора. — Пауза у него была своя: не отмеренная, как у ректора, а плавающая, живая, подстроенная под собеседника. — Удивительное дело: за целую осень столько мелких странностей — и ни одна не выросла до крупной. Так бывает, когда странностям кто-то мешает расти. Заботливо. С самого верха.

Айра слушала со скучным лицом человека, которому рассказывают о чужой родне.

— Я в актах не разбираюсь. Меня к ним не допускают.

— И правильно делают. — Никандр кивнул, будто она сказала что-то по существу. — Что ж. Рад был познакомиться, адептка Сол. Уверен, у нас найдётся случай поговорить о странностях... вне процедур.

Он ушёл в сторону приёмных покоев — лёгким шагом человека, у которого всё по плану и план хорош. Айра постояла, глядя ему вслед.

Осеннего куратора она помнила хорошо — лучше, чем хотела бы. Тот пах ладаном, улыбался ямочками и смотрел на людей, как смотрят на чужие замки: не «что внутри», а «сколько возни». При нём вся академия училась быть мебелью. Страшный был человек — и понятный: таких переживают, как непогоду.

Этот был другой масти, и разницу Айра сложила по-скупщицки, пара к паре, — так было спокойнее. Осенний был из ловчих: работал нюхом, брал страхом — ему было удобно, когда бояться, и страх ходил при нём вроде поводка. Этот —

из писарей: работает бумагами, брать будет доверием — ему удобно, когда с ним говорят. Осенний никому ничего не доказывал: за него всё давно доказали те, кто не писал писем. Этому — надо: молодой, приехал делать имя. Тот пах ладаном. Этот — ничем.

С непогодой просто: её переживают. С голодным сложнее: голодный ждёт лучше тебя.

У неё в городе таких, как этот, звали ласковыми. Ласковый — это который не давит и не грозит: он приходит, гладит, оставляет дверь открытой — и однажды ты сам не замечаешь, как всё ему рассказал, потому что он один тебя понимал. Ласковых боялись больше злых. От злого можно закрыться. От ласкового закрываться вроде как и невежливо.

Ласковый. С печатями. По мою душу.

И ещё одно она отметила, уже на лестнице, задним числом — как отмечают недостачу при пересчёте. Ехал он, положим, не по смерть: лист на доске обещал куратора ещё в то утро, когда Дайн был жив. Но смерть его дороги не спросила — случилась и легла под ту же крышу, за дверь с журналом, и следы у западной стены ещё можно было спросить у стражи. За целый день он не подошёл ни к телу, ни к стене, ни к страже. Он ходил по галереям и разбирал осенние бумаги.

Она видела, как работают дознаватели. Плохие давят, хорошие слушают — но и те и другие первым делом идут смотреть. Даже случайный казённый гость при свежей смерти сходил бы взглянуть — из одного любопытства, люди так

устроены. Не пойти смотреть может только тот, кому смотреть незачем.

* * *

К семи она поднялась в приёмную — пункт сорок третий, бессмертный и невредимый.

Приёмная была не её.

То есть всё стояло на местах: журнал, перо, стул у лампы, Дисциплина на подоконнике. Но у стены, за приставным столом, которого вчера не было, сидел писарь в дорожном сукне — не академическом, столичном — и переписывал что-то из одной стопки в другую. На вошедшую он поднял глаза, опустил, сделал пометку. Айра готова была поспорить на что угодно: пометка была про неё.

Из-за двери кабинета шли голоса. Слов было не разобрать — дверь держала, — но узор она слышала и без слов: голос ректора, с его отмеренными паузами. И второй — лёгкий, плавающий, удобный. Разговор шёл давно и кончаться не собирался.

В графе «явка» роспись вышла без хвостика: повода не было.

Села на стул у лампы, достала библиотечный том. Дисциплина на подоконнике приоткрыла один глаз, оглядела приставной стол, писаря, стопки — и глаз закрыла с видом кошки, которая всё это уже переживала и знает, чем кончается:

ничем.

Час шёл чужой. Перо писаря скрипело не так, как скрипело здешнее, — суше, быстрее, без нажима. Из-за двери один раз долетело смеющееся «...ну что вы, ректор, какие претензии...» — и снова ушло в общий гул. Взгляд из-за двери её не задевал ни разу: двери было не до неё.

А говорили — ежедневно. В семь. Лично.

Она осадилась эту мысль, как осаживала все мысли этого сорта, — но мысль была быстрее: успела и явиться, и встать, и посмотреть на неё с укором.

В восьмом часу писарь начал собирать свои стопки. Айра закрыла том, расписалась в графе «убытие» и пошла к выходу.

Уже в дверях она слышала — или выдумала, — как разговор в кабинете запнулся. На вдох. Как раз на её шаги.

«Спокойной ночи» ей не сказал никто. Дверь — и та промолчала.

* * *

Штаб собрался, где договорились, — в нише Верена за дальними стеллажами, в час, когда честные люди из архива уже ушли. Днём в архиве сталолюдно: чужие сапоги, чужие голоса, свитские куратора со своими выписками. Но ночь возвращала архив хозяину — Верен впустил всех по одному и запер дверь на два оборота. На один больше обычного.

Серак пришёл последним. Сел, вытащил из кармана ремешок с оторванной пряжкой — от сумки Верена, вчера лопнул под книгами — и стал перешивать: шило, дратва, короткие точные стежки. Дело рукам он нашёл раньше, чем себе — слова.

— Два часа, — сказал он.

— Чего два часа? — не поняла Тай.

— Меня. Куратор. С полудня до двух.

Стало тихо. Верен перестал шуршать.

— Он идёт по списку, — осторожно заметил Верен. — Всех, кто поминается в осенних бумагах, по очереди. По четверти часа на человека. Это процедура.

— По четверти часа. — Серак затянул стежок. — А меня — два часа. И не о Дайне.

— А о чём?

— Об осени. — Стежок. — Об инспекции. Что чинил, кому чинил, когда чинил. Кто просил. — Стежок. — Про турнир спрашивал. Про перегрузки. Про то, чего я не чинил, — тоже спрашивал: почему не чинил, если умею.

— А про Дайна?

— Ни слова. — Серак откусил дратву и посмотрел на Айру — впервые за весь разговор. — Осенний — тот допрашивал. Со свечами, с правилами, чтобы ты сидел и боялся. Этот — сверял. Как приказчик накладные: у него всё уже записано, он только смотрел, где я собоюсь. — Стежок, последний. — Я не сбился. Кажется.

Он потянулся отложить шило — и по дороге поправил тёмную шкатулку у локтя. На палец, не дальше: она и не стояла криво. Поправил, как поправляют шапку на ребёнке, и вернулся к ремешку.

Никто не спросил. У каждого в этой компании было что-то, на что вот так ложится рука.

Айра выложила на стол то, что принесла: слова — про чистую кожу, про запавшие виски, про русла без воды. Говорила коротко, по делу, как сдают краденое скупщику: вес, проба, без лирики. Лирику каждый доложил себе сам — по лицам было видно.

— Мороз хранит, — закончила она. — А Дайн — сох. Четыре дня на льду — и сох. Что бы его ни убило, оно не кончило работу той ночью.

— Или работа такая, что не кончается. — Верен снял очки, протёр их и надел обратно — так он выигрывал у себя время. — Значит, вопрос для каталога есть. Не «убивает без раны» — это половина каталога. А «вытягивает. До дна. И продолжает после смерти». Это... — Он сглотнул. — Это уже не половина. Это страница. Может, две.

— Тебе хватит страницы?

— Мне хватит и строчки, если строчка та. — Верен посмотрел на неё поверх очков. — Принесли?

Лоскут лёг на стол, в круг лампы, — тёмный, с внутренним швом, уже отмякший у неё за пазухой от холода мертвецкой. Верен взял его двумя руками, бережно, как берут

птенца или улику, и с минуту просто смотрел.

— Подкладка. Шов фабричный, нить... неважно. — Он поднял голову. — Мне нужно несколько дней. Читать буду ночами, в архиве я ночами один. Если в этой ткани есть след — я его найду. Если следа нет...

— Если следа нет, — отозвался Серак, не отрываясь от ремешка, — это тоже ответ. Чистых вещей не бывает. Бывают вычищенные.

Тай, всё это время гревшая собой половину ниши, вдруг хлопнула себя по колену:

— Чуть не забыла. Столовая. Вы же мне сами велели слушать. — Она обвела всех взглядом, убедилась, что слушают, и выдала: — Дом Кер подал грамоту. О союзе. Кер и Дейн, два старых дома, одна большая радость. Старшие говорят — до весны сговорятся, к лету объявят. Ставки уже принимают. Три к двум, что свадьба в столице.

— А ты что поставила? — спросил Верен.

— Ничего. — Тай пожала плечами. — Я в чужое счастье не ставлю. Плохая примета.

Услышанное Айра убрала на ту же полку — к остальному непонятному про ректора. Полка приняла и даже не скрипнула: притерпелась.

— Расходимся. — Айра поднялась. — Верен — ткань. Серак — с ним, когда появится вопрос. Тай — столовая и лица: кто как слушает про куратора. Я — по своей части.

— А по твоей части — это по какой? — прищурилась Тай.

— По тихой.

На дворе мороз к ночи отпустил, и с крыш, первый раз за неделю, капнуло — тонко, редко, на пробу. До оттепели было далеко, но крыши уже интересовались.

К крылу Айра шла тёмной стороной двора и считала. Выходило вот что: в академии теперь жили убийца, которого никто не видел. Куратор, который не смотрит на убитого. Невеста, у которой всё отмерено. И ректор, у которого на всех них один устав и две руки.

И ещё она. По списку — старательная первокурсница Сол.
Тесно у нас становится. Пора бы кому-нибудь съехать.

Она уже поднималась по лестнице своего крыла, когда поняла, чего ей не хватало весь вечер, — и, поняв, остановилась между этажами.

Сегодня, в семь, за всё время явки, из-за двери её не пересчитали ни разу.

Оказывается, к этому она тоже привыкла.

Ничего. Завтра сяду ближе к двери и стану листать страницы погромче. Пересчитает как миленький.

Глава 9. Приемлемо

За Дайном приехали ночью — тихо, без огней, как забирают то, о чём договорено заранее. К завтраку это знала вся столовая: сани встали у лекарской, постояли сколько нужно и ушли до рассвета. Кейры за столами не было. Говорили, она стояла у ворот, пока полозья не свернули за столбы. И ещё стояла, когда уже не было слышно.

Столовая тем утром гудела ниже обычного — так гудят разговоры, когда все помнят об одной закрытой двери.

Тай села напротив с двумя мисками и первым делом придвинула Айре мёд.

— Ешь. Сегодня длинный день.

— Откуда сведения?

— Кухня печёт с рассвета. — Тай перешла на заговорщицкий шёпот, по её меркам: на полтрапезной тише. — Малую залу открывают. Вечером приём: гости, преподаватели, старшие. Ту самую выпечку делают. Которую только для Совета.

— Какую — ту самую?

— Никто не знает. — Тай посмотрела на неё почти с испугом. — В этом же всё дело. Её никто из наших никогда не пробовал. Крохотная, говорят, с ноготь. Я про неё думаю с первого дня, как слышала. Иногда — перед сном.

Судя по гулу соседних столов, думала о ней перед сном не только Тай. К концу завтрака выпечка в пересказах успе-

ла подрасти вдвое, обзавестись начинкой и одним чудесным исцелением.

Айра намазала мёд на лепёшку и решила, что длинный день можно начинать и так. У неё в этот длинный день стоял зачёт у Виерны, и про зачёт она думала примерно как Тай про выпечку. Только без удовольствия.

* * *

К деканскому крылу она пришла заранее, но очередь пришла ещё раньше.

Пересчитали её сразу. Не спросили, кто такая и по какому делу, — тощий второкурсник ткнул её пальцем в грудь, сказал «двенадцать» и пошёл дальше вдоль стены, не оборачиваясь.

Быстро тут у них. В городе так пересчитывают мешки на подводе.

Пересдачников набралось с дюжину, со всех курсов разом — сессия, перенесённая инспекцией, догоняла всех по очереди, — и стояли они так, как стоят люди, у которых внутри уже всё случилось: кто-то шевелил губами, в последний раз перегоняя выученное по памяти, кто-то смотрел в стену, набираясь у неё твёрдости. Старших от первокурсников было не отличить: у страха перед деканом выслуги лет не водилось.

Из-под деканской двери тянуло сухим — пылью и выдох-

шейся травяной трухой, — и тянуло по щиколоткам, как раз на той высоте, где холод обиднее всего.

Уклад у очереди был свой, трёхдневной выдержки, но носили его так, будто ему сто лет. У самой двери на сложенном вчетверо одеяле сидел ветеран — тот самый, что в день записи занял место с вечера. Одеяло за три дня перестало быть вещью и сделалось должностью: сидеть на нём мог только он, а вставал он лишь затем, чтобы уступить очередь следующему и сесть обратно. По строю от хвоста к голове ходила кружка. Что в ней было налито, Айра выяснять не стала: кружка возвращалась пустой, никто не жаловался, и было понятно, что порядок этот заведён позавчера, а позавчера в такой очереди — древность.

Ним она увидела не сразу — Ним шла вдоль стены с головы, и губы у неё двигались.

После истории со стояльцем Ним в этой академии переменила чин. Раньше её паранойю терпели. Теперь ею пользовались: считала она, а очередь молча стояла и давала считать, потому что один раз это уже окупилось.

— Двенадцать, — объявил второкурсник от хвоста.

— Тринадцать, — сказала Ним от головы.

Стало тихо. Кружка остановилась на полпути.

— Считай ещё раз.

— Я считала.

— И я считал!

Очередь развернулась внутрь себя, как разворачивается

собака, услышавшая шорох в собственной шерсти. Пересчитывались вслух, с тычками, потом по головам, потом переключкой — каждый называл, за кем стоит, и на четвёртом человеке всё запуталось окончательно, потому что двое честно назвали одного и того же.

— Он! — обрадовались из середины.

Указывали на широкоплечего парня с Клинка, стоявшего с самым мирным выражением, какое бывает у людей, которых внезапно назначили нежитью.

— Я тут с утра стою.

— А кто тебя видел, как ты вставал?

Никто, разумеется, не видел. Утро было тёмное, а становятся в очередь тихо.

— Он тёплый! — вступился кто-то. — Потрогайте, он тёплый!

Парня потрогали. Парень оказался не просто тёплый — парень оказался мокрый, потому что стоял у самой стены, а стена шла над кухней. Довод приняли: иней у стояльцев не тает, а этот таял весь, целиком, и уже давно.

— Тогда где лишний?

Лишнего искали ещё какое-то время, старательно и совершенно впустую, пока Ним не сошлась со вторым счётчиком нос к носу посередине строя.

— Ты себя считал?

Второкурсник открыл рот. Подумал. Закрыл.

Очередь выдохнула и осела плечами — не с облегчением,

а с той усталостью, с какой люди понимают, что четверть часа воевали с собственной арифметикой.

— Тринадцать, — сказала Ним. Без торжества. Она уже вписала это себе куда-то, где вела свои счета. — Себя считать надо первым. Себя всегда забывают.

И пошла к голове очереди — принимать своё место обратно.

Айра стояла двенадцатой, руки за спину, и думала о том, о чём тут никто не думал.

Кричали и тыкали пальцами четверть часа. Нашли живого, ощупали живого, оправдали живого. А тот, осенний, — стоял себе спокойно, никого не трогал, и вычислили его только потому, что Ним заранее знала: считать надо. Смирный, вежливый, с инеем на плечах — и хоть бы одна душа спросила, за кем он стоит.

Лишнего в толпе не ищут глазами. Глаза милосердные, они дорисовывают. Лишнего находят только счётом — и то если считать честно.

Дальше очередь пошла быстрее, чем обещала: Виерна не растягивала — одного впускала, другого выпускала, и снова. Ветеран сидел у самой двери и потому вставал дважды на каждого: пропустить входящего и пропустить выходящего. Вставал, садился обратно на своё одеяло, вставал опять — и к тому часу, когда впереди у Айры остался один Юст, поднимался уже с кряхтением, честно заслуженным.

Дверь отворилась. Юст вышел из кабинета бледный, при-

творил её с почтением, с каким закрывают крышку кастрюли, из которой уже всё выкипело, и сообщил очереди:

— Она спрашивает «почему».

— Что — почему?

— Всё почему. Я говорю: морок. Она говорит: почему морок? — Юст развёл руками на всю ширину коридора. — Я к «почему» не готовился. Я готовился к «что».

— Она однажды у лектора Эйна «почему» спросила, — мрачно сказали из хвоста очереди. — Лектор Эйн до сих пор думает.

Очередь осела плечами второй раз за четверть часа. Ветеран на одеяле закрыл глаза, как закрывают их перед дальней дорогой.

Айра прошла в кабинет следующей — по её опыту, после таких новостей лучше идти сразу, пока воображение не взялось за дело.

* * *

В кабинете было прибрано до звона и пусто, если не считать декана. Виерна сидела за столом без единой бумаги, и на столе перед ней стояли три вещи: чаша, тусклый ключ и свеча в глиняном стакане. Свеча горела.

— Адептка Сол. — Виерна не предложила сесть, потому что стула не было. — Одна из этих вещей не существует. Скажите, которая. Руками не трогать.

Айра посмотрела на стол.

Ключ был мнимый. Это она увидела с порога, раньше, чем разглядела сам ключ, — так с порога видишь, что в комнате не хватает стула, на котором всегда сидели. Морок был хорош: тень лежала правильно, металл потёрт где надо. Только вещи стоят в мире, как гвозди в доске, — а этот лежал на столе, как лежит слово на бумаге. Написанный.

Оставалось не увидеть этого ещё какое-то время.

Она наклонилась к чаше. Долго смотрела на свечу — на пламя, на воск, на потёк сбоку, честный, неровный, живой. Свеча держалась молодцом: подозревать её было одно удовольствие. Айра отвела от неё взгляд с сожалением, как отводят от витрины.

— Свеча... — начала она, дала слову повисеть и поправилась: — Нет. Свеча настоящая. Воск потёк вбок, к сквозняку. Морок бы тёк красиво.

Виерна ждала. Лицо у неё было такое, с каким смотрят представление, зная его наизусть, — не скучающее. Терпеливое.

— Ключ, — выбрала Айра наконец. — Бородка стёрта, а на столе вокруг ни царапины. Тяжёлая вещь, старая. Ей бы наследить.

— Через сколько вы это поняли?

Вопрос лёг на стол между ними — четвёртой вещью, и не сказать, чтобы мнимой.

— Ко второй минуте, — честно соврала Айра. Правда —

«с порога» — осталась лежать, где лежала: непроданной.

— Приемлемо, — произнесла Виерна.

Пауза после этого вышла на полсекунды длиннее уставной — по деканской шкале целая речь.

— В прошлый раз я просила минуту. — Виерна поднялась, давая понять, что зачёт окончен. — Вы щедрая: дали две.

Возразить на это было нечего, и Айра благоразумно не стала. У двери её догнало ещё одно:

— Вечером — малая зала, второй ярус. Приём в честь гостей академии. Вы внесены в список представления. — Виерна выдержала её взгляд, не меняя голоса: — Не моей рукой, адептка. Форма чистая, явка к семи. Идите.

Готовилась прилично, сдала приемлемо, а расплачиваться, выходит, парадно.

В коридоре очередь посмотрела на неё вопросительно. Айра пожала плечами:

— Спрашивает «почему».

Очередь застонала без голоса, одними лицами. Ветеран на одеяле не пошевелился: он это уже пережил и теперь принадлежал вечности.

До конца сессии оставалось недели две. Где-то за последним зачётом стояла подвода на север — стояла и не торопилась. Ей было всё равно, кого везти.

Про список Тай узнала раньше, чем Айра дошла до столовой, — у неё, похоже, уже была выстроена целая агентурная сеть. Или ещё чего похуже.

— Представлять! Тебя! — Тай отконвоировала её к скамье и села напротив с лицом полководца. — Так. Слушай задание. Ты идёшь туда и запоминаешь всё, что подадут. Не пробуешь — запоминаешь. Пробовать — если само получится. Это не жадность, это разведка.

— А если разведку поймают?

— Разведку не ловят. Разведка — это когда у тебя скучное лицо. — Тай задумалась. — У тебя самое скучное лицо из всех, кого я знаю. Я это в хорошем смысле.

— Спасибо.

— Не за что, это ценный ресурс. Теперь по существу. — Тай выставила на стол солонку, кружку и два обломка хлеба и стала двигать их, как двигают войска. — Столы стоят вдоль окон, я узнавала. Вот сладкое, вот вино, вот чай. Начинаешь от чая — чай никому не интересен, у чая ты можешь стоять хоть весь вечер, и никто не спросит, чего это ты стоишь.

— Ты вчера говорила, что не бывала в малой зале.

— Не бывала. Я узнавала. — Солонка передвинулась левее. — И вот главное. Не бери с краю. С краю берут все, край всегда обглодан, и по краю судят о серёдке — а серёдка дру-

гая. Бери из глубины.

— Это ты откуда знаешь?

— Мать говорит, — коротко сказала Тай, и по тому, как коротко, было понятно, что мать говорила это не про приёмы Совета, а про что-то, чего в жизни матери было куда меньше, чем хотелось бы.

Айра кивнула и не стала трогать.

— И запомни вкус, — закончила Тай, сгребая войска обратно в посуду. — Не «вкусно» — вкус. «Вкусно» я и сама придумаю.

— А почему тебя не позвали?

— Потому что я Клинок и меня видно. — Тай пожала плечами без всякой обиды, что для неё означало обиду глубокую и хорошо утопанную. — Тебя позвали, потому что тебя не видно. Это, вообще-то, комплимент. Правда, не мне.

* * *

До вечера академия занималась приёмом так, как занимается им всякое место, куда едут гости, которых не звали: с усердием и без любви.

Носили. По галерее второго яруса весь день таскали то, чего в обычные дни в академии будто бы не существовало: скатерти, шандалы, стопки чего-то тяжёлого и переложенного холстиной. Двое из прислуги пронесли мимо Айры кресло — одно, единственное, — и по тому, как бережно они его

несли, было понятно, что кресло везут не для того, чтобы в нём сидели, а для того, чтобы оно там стояло.

Мели так, как метут только при чужих: не там, где сор, а там, где посмотрят.

А вот малую залу с утра не могли открыть.

Айра застала это на обратном пути и остановилась, потому что мимо такого не проходят. Перед высокой двустворчатой дверью стояли трое: две тётки из уборки и завхоз. Дверь стояла тоже.

— Её год не открывали, — объяснял завхоз кому-то невидимому, а вернее — самой двери. — Ну год. Ну не открывали. И что теперь?

Дверь молчала. Не заперта — это Айра определила с одного взгляда, замок в ней был честный и в работе не участвовал. Створки просто держались друг за друга, как держатся руки у человека, которого просят их разжать.

«О, ну теперь вы обо мне вспомнили? Проваливайте», — говорила дверь всем своим неприступным видом.

— Плечом надо, — сказала та, что помоложе.

— Плечом уже пробовали, — отозвалась та, что постарше. — Плечом она обижается.

Пробовали, судя по всему, всё: тянули, толкали, подкладывали под низ и один раз, кажется, просили. Потом кто-то сбегал за старшим, старший пришёл, посмотрел, велел всем отойти — и не стал ничего делать вовсе. Он просто встал перед створками, положил на них ладони и минуту стоял так,

будто грел руки о чужую дверь.

Створки разошлись сами, с длинным сухим вздохом, и из залы потянуло годовой стоялостью: холодным воском, пылью и чем-то ещё, чему Айра имени не подобрала, — так пахнет комната, в которой целый год никто не сказал ни слова.

— Здраваться надо, — сказал старший, отряхивая ладони. — Она не заперта. Она отвыкла.

Двери у них отвыкают. Прекрасно. В городе, если дверь год не открывали, за ней обычно лежит хозяин.

Хозяин вышел сам.

Из темноты залы, между разошедшихся створок, неспешно выступил Кот: чёрный, толстый до неприличия, оскорблённый в лучших чувствах. Его целый час продержали под его же собственной дверью. Завхоз смотрел сквозь него в глубину залы и прикидывал, куда ставить кресло. Младшая шагнула туда же, подобрав юбку, и разминулась бы с ним вплотную — если бы он сам не забрал левее.

Посреди прохода Кот остановился и всех оглядел. Завхоза. Обоих тёток. Старшего, который только что здоровался с дверью и был теперь очень собой доволен.

На Айре взгляд задержался отдельно и дольше. Остальные просто шумели под дверью. Она — не проследила.

Потом драное ухо повернулось на голос завхоза, и Кот пошёл прочь по галерее — не торопясь, не оглядываясь, по делам, которые ему сегодня сорвали.

Айра смотрела в стену над плечом старшего. Лицо держала скучное.

Год за этой дверью кто-то жил и ни в чём себе не отказывал. И заходил туда, надо думать, не через дверь.

Завхоз шагнул через порог первым, тётки потянулись следом со скатертями, и малая зала из загадки сделалась рабочей: куда кресло, куда шандалы, где мести. Айра осталась в дверях.

— Год не открывали, — сказали у неё над головой.

Юст обнаружился рядом сам собой — он в последнее время заводился везде, где что-нибудь не сходилось, — и смотрел на открывшуюся залу с лицом человека, чьи худшие догадки подтверждаются по расписанию.

Под мышкой у него была книга.

Айра посмотрела на книгу профессионально, раньше, чем на самого Юста. Книга была казённая: холщовый переплёт, наклейка на корешке, на наклейке номер.

— «Положение о приёмах и празднествах», — сообщил он вместо приветствия и не без гордости. — Гости приехали вчера — значит, будет приём. А как на приёмах положено, я не знал. Оказалось, на это есть отдельный свод.

— Откуда?

— Из архива.

— Кто выдал?

— Никто. — Юст помолчал. — Я сам взял прошлой ночью.

Дальше он рассказывал, а она слушала — сперва из вежливости, потом иначе.

Обходы он считал не с этой недели. Не выглядывал из-за угла — сидел в нише над лестницей и записывал, когда стража проходит низом и когда верхом. Четыре ночи подряд сошлось одинаково: между нижним обходом и верхним ложатся одиннадцать минут, и все четыре раза они ложились в одном и том же месте.

Чары в архиве стоят на дверях. В двери Юст не пошёл.
— Окно над третьей полкой, — объяснил он. — Раму повело. Она давно не запирается, я это ещё осенью заметил. Просто тогда мне было незачем.

Айра слушала и ловила себя на зависти.

Одиннадцать минут — с запасом, а не впритык. Окно вместо двери — по уму: чары вешают туда, куда ходят. Заметил осенью, придержал до случая — это уже не везение.

— А обратно? — спросила она, потому что не спросить не могла.

— Тем же окном. Только сначала посмотрел, не переменялся ли нижний обход. Не переменялся.

— И всё это — ради книжки про поклоны?

— Нет, конечно. — Юст, кажется, слегка обиделся. — Книжка — это первое, что пригодилось. А считаю я давно. У меня тетрадь.

Тетрадь он показывать не стал, но перечислил — тем же голосом, каким объявлял очереди расписание: архив, биб-

лиотека после отбоя, кладовая при кухне и ещё два места, про которые он пока не выяснил, почему туда нельзя.

За такую тетрадь на Нижнем рынке дали бы больше, чем Айра держала в руках за всю жизнь. Составил её первокурсник, искренне полагающий, что готовится к занятиям.

— Юст. — Она сказала это почти с уважением. — А ведь чисто.

— Чисто, — согласился он. — И я даже расписаться не забыл.

— ...Что?

— В книге учёта. На выходе. — Он смотрел на неё ясно и спокойно. — Там три графы: кто взял, что взял, когда вернёт. Я заполнил все три. Разборчиво.

Три года улицы поднялись в ней разом — и легли обратно.

Он обошёл стражу, миновал чары, снял с полки чужое — и по дороге к окну задержался, чтобы собственноручно оставить в архиве письменное признание. С датой.

— Ты понимаешь, что ты сделал?

— Понимаю. — Он посмотрел на неё с достоинством человека, которого зря заподозрили. — Я его не украл. Кто расписался — тот взял на время. Кто не расписался — тот украл. Разница в одну строку.

И вот тут Айра не нашлась.

Потому что он был прав. Совершенно, до последней запятой прав. Три года она училась не оставлять следов — уходила дворами, вязала узлы, которые развязываются двумя

пальцами, и семь раз за вечер проверялась на пустой улице. А он вошёл в архив, взял чужое, оставил след размером с ворота — и вышел оттуда неприкосновенным. Потому что след был правильно оформлен.

Так вот чего мне всю жизнь не хватало. Расписки.

— И что там про приём?

— Всё, — сказал Юст с горечью. — Порядок открытия залы. Порядок расстановки столов. Пункт сорок третий: к назначенному часу быть в зале и выглядеть так, будто стоишь в нём с полудня. Сколько свечей на сажень стены — отдельным пунктом, я проверил, шесть. Кому кланяться первым и на сколько. Даже что делать, если гость упал.

— А если упал?

— Поднять. Но сначала уточнить, чей. Смех в этот момент, кстати, не приветствуется.

Он раскрыл книгу на заложенном пальце, показал ей страницу — Айра посмотрела из вежливости, буквы там стояли частоколом, — и захлопнул.

— А вот чего там нет. Списка представления. То есть список упомянут четырежды: по списку приглашают, по списку называют, по списку кланяются. А кто его составляет — не написано нигде. Ни строкой.

Виерна сказала — не её рукой. Айра знала чьей. А Юст не знал — и дошёл до того же места с другой стороны: с книгой под мышкой и с подписью в чужом журнале.

— Значит, есть свод правил, которого нам не показывают,

— заключил Юст. — Я, между прочим, второй месяц собираю доказательства. У меня их одиннадцать.

Двенадцать. Осенью мне выдали в канцелярии книжку в тридцать семь страниц и назвали её полным текстом устава. Верен говорит — семьсот девяносто. Сказать? «Спроси Верена, он их читал». И объяснить заодно, откуда я так хорошо знаю, что Верен читал.

— И что ты будешь делать, когда соберёшь?

Юст задумался всерьёз. Видно было, что вопрос ему понравился.

— До этого я ещё не дошёл, — признался он с явным удовольствием.

Ставки на выпечку к тому часу шли уже вторые сутки и обросли собственным сводом правил, куда более разработанным, чем всё, что Юст искал. Ставили не на вкус — вкус проверить было некому. Ставили на размер: с ноготь, с половину ногтя, с медяк. Отдельно шёл спор о начинке, отдельно — о числе штук на человека, и один второкурсник с Архива держал на этот счёт таблицу, которую отказывался кому-либо показывать, ссылаясь на чистоту наблюдения.

К обеду выяснилось, что двое из спорщиков вообще никогда не были уверены, что выпечка существует.

Это ничего не изменило. Ставки только выросли.

Форму она достала перед самыми семьёю — и обнаружила на ней Кота.

Он лежал точно посередине, поперёк разложенного сукна, всей своей тушей, и по тому, с каким удобством он лежал, было ясно, что форму сюда постелили для него.

— Это парадное.

Кот не шевельнулся. Слово «парадное» не входило в число понятий, которыми он оперировал.

Сгонять его она не стала — сгонять его она пробовала однажды и вынесла из этого опыта уважение к чужой массе. Она просто села рядом на кровать и стала ждать, и он ушёл сам, когда счёл, что достаточно, — перетёк на подушку, оставив на тёмно-синем сукне отчётливый тёплый контур себя.

Контур был в шерсти. Чёрной, короткой, обильной.

— Ты понимаешь, что меня сегодня будут разглядывать?

Кот понимал. Кот считал, что теперь есть что разглядывать.

Тай пришла за четверть часа до колокола — проверить, что подруга не собралась идти к Совету в чём была, — и, увидев форму, только вздохнула и взялась ладонями.

Она вела ими по сукну сверху вниз, разглаживая рукава, и от жара шерсть сворачивалась в невесомые катышки и осыпалась на пол, и Тай их не видела, потому что видеть было

нечего: шерсти не бывает у кота, которого нет. Она просто гладила форму, довольная работой, и говорила при этом что-то про то, что рукав всё равно короткий и что зимой это даже хорошо, зимой рукав должен быть коротким, чтобы не лез в чужие тарелки.

Айра сидела и смотрела, как её подруга работает в двух ладонях от огромного кота.

— Готово. — Тай отступила и оглядела результат с гордостью мастера. — Теперь ты выглядишь как человек, у которого есть одна форма, но зато чистая.

— Это лучшее, что мне говорили за неделю.

— Я знаю. Я старалась.

От ладоней на плечах остался тёплый след, как от утюга, только живой. С этим теплом Айра и поднялась к семи на второй ярус Корпуса.

Внесли в список, значит. Осталось выяснить, в какой именно.

Глава 10. Приём

Малая зала оказалась длинной комнатой в свечах. Окна в две стороны: с восточной, в мелких переплётах, лежал двор — синий, вечерний, со шляпками снега на столбах, — а с западной начиналось озеро — чернота, аккуратно обрезанная подоконником. На эту сторону Айра старалась не смотреть: эта вода ей не понравилась с первого раза, а чем именно — она так и не выяснила.

Стульев в зале не было. Приём стоячий: гости, которым не на что сесть, устают вовремя и расходятся сами. Придумал это кто-то настолько гениальный, что наверняка опередил своё время.

— Сто шестнадцать, — сказали ей в спину.

Верен обнаружился у чайного стола — привалившийся к стене, со стаканом в обеих руках, каким держатся не за питьё, а за поручень.

— Свечей, — пояснил он. — Я считал, пока вносили. Сто шестнадцать, и ни одной в шандале, все в плошках. На случай, если кто-нибудь всё-таки загорится.

— Ты меряешь Совет в свечах?

— Я меряю всё, до чего дотянусь. — Он подумал и прибавил честно: — Иначе мне тут нечем заняться. Я на приёмах стою у стены и считаю. Меня за это ни разу никто не поблагодарил, а между тем я один в этой зале знаю, сколько чего

внесли. И сколько вынесут обратно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.